Единицы времени

Диана Федоровна Виньковецкая

SHOUT
SHARE
IT

- ДИАНА ВИНЬКОВЕЦКАЯ

ДИАНА ВИНЬКОВЕЦКАЯ
Единицы времени

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, под щитом с двумя золотыми львами и девизом: «Deus conservat omnia», в одной из комнат бывшего дворца Шереметевых, рядом с Белым залом Кваренги, открылась экспозиция: рабочий кабинет Иосифа Бродского из колледжа Маунт–Холиок (Мария Бродская прислала мебель из Америки). Может, кто-то вдохновится прочитать или написать стихи, глядя на письменный стол Иосифа? А этажом выше выставка фотографа Бориса Шварцмана — портреты знакомых и друзей Иосифа шестидесятых годов. Через бывший Шереметевский сад входишь в зал и начинаешь вспоминать, заглядывать в лица и узнавать.

Большой портрет юбиляра лукаво–ироничный, под царственным взглядом Анны Андреевны, как бы возглавляет это «шествие» лиц. Торжественный Борис Борисович Вахтин. Вот выступает язычески–мистический Владимир Марамзин… Вон, посмотрите! Евгений Рейн в проходе Александринского театра. А это красавицы: Эра Коробова, Ольга Антонова. Анатолий Найман вместе с Дмитрием Бобышевым около Эрмитажа. Метафизически углубленный Юрий Михельсон–Димитрин. Порядочно–серьезный Яков Гордин. Вальяжный Игорь Ефимов, Андрей Битов с обложки своей первой книжки. Отдельные лица, еще несложившиеся, неопределенные, они могут быть и стать кем угодно: врачами, учителями, поэтами, художниками. Может быть, есть маги, читающие в лицах и предсказывающие судьбу?

А вот двое за одной подписью: Яков Виньковецкий, а кто с ним рядом — неизвестно? Это я, Дина Киселева, потом Диана Виньковецкая. Мне нравится мое непредвзятое выражение, но подписи под фотографией нет, что это я. Я бы не возражала быть одним целым с моим покойным мужем Яковом, но время расставило свои разделения, «вплоть до смерти. И после нам не вместе лежать», да и не единение хотели показать устроители выставки, просто до тебя нет никому дела — ни посторонним, ни друзьям. «считайте так, что нас на свете нет». Ведь не только фотографические портреты отображают реальность, но и подписи под ними.

Где-то посредине зала, когда еще рассматривала портреты, со мной произошло то, что описывает Марсель Пруст в «Поисках за утраченным временем». Как запах домашнего печенья внезапно вызывает у героя воспоминания о событиях прошлого, так у меня

этот портретный калейдоскоп вдруг вызвал лавину ассоциаций. Конечно, эти «лавины» неповторимо индивидуальны для каждого отдельного человека и, может быть, для каждого отдельного состояния. Каждое отдельное событие в жизни человека может навсегда исчезнуть, затихнуть, а что-то может остаться незабываемым моментом. И эти незабываемые моменты вдруг зашевелились, ожили, заговорили… воскресли и унесли меня в воспоминания.

Мне захотелось коснуться какой-то части моей «лавины» ассоциаций и оттенить свое ощущение климата тех фотографических времен, передать смысл и эмоции некоторых встреч, без претензий на всесторонний анализ судеб круга друзей и приятелей. За каждым лицом стоит жизнь, мои отношения, и каждое из них имеет право на отдельную книгу. Конечно, текстуально я не помню многих диалогов, да и всегда нелепо и смешно читать прямую речь, пронесенную сквозь годы. Но есть отдельные минуты, фразы и слова, которые врезались в память, и пусть они существуют и живут не только в моей памяти, но и на бумаге. Хочу сказать спасибо судьбе, что встретила таких людей, как Яков и Иосиф, и «поклониться их теням».

Иосифа Бродского и Якова Виньковецкого сближал внутренний космос души, мрачное мироощущение, высокая духовность и чувство оторванности от толпы. Один стал широко известен, другой гораздо меньше — (он добровольно ушел из жизни в 1984 году), но для меня они были духовными вдохновителями, людьми с «открытыми окнами», которые помогли мне открыть мои. Они оказали влияние на мое взросление — со временем я становилась сильней через них, вошла в круг их друзей и знакомых, обогатилась знаниями, освободилась от мелкотравчатости, обрела уверенность, ощущение индивидуальности, раскрепощенности, способность к спонтанным реакциям и возвышенную любовь. Всем складом моей духовной жизни я обязана Якову и кругу его друзей.

Не помню, кто сказал, что нет ничего страшнее посмертных комментариев и записок. И это правда: как часто через маленькую призму совсем не видно большого, а разглядываются только микробные мелочи, ведь все события окрашиваются твоей сетчаткой. Вне отношения к себе, конечно, невозможно «вспоминать», и все, что вспоминается, больше говорит о тебе. И бывает невыносимо, когда люди, наделенные духовными дарами и преимуществами, уравниваются суждениями ограниченных людей. Но я рискнула обнажить часть своей сущности — описать свое виденье отдельных событий по отпечаткам памяти, через призму своей сетчатки, своего времени и своей любви. И чтобы не

было стыдно перед теми, кого уже нет, я буду в мысленном общении с ними, как с присутствующими. Яков и Иосиф, может быть, и улыбнутся, «читая» это эссе.

В мое повествование будет просачиваться прошлое, я буду возвращаться из прошлого в настоящее и наоборот — взад и вперед. Туда–сюда без всякой хронологии и географии. Прошлое так внедрилось в действительность, что становится частью настоящего и настоящее окрашивается прошлым. Нет и непрерывности в воспоминаниях, а есть несоответствие запоминаний. прорехи в памяти. Все, что было в жизни, связано совсем не логикой, а тем, что творилось и творится в твоей душе.

Итак, оглядываюсь назад. Шествие. «Союз с былым сильней, чем связь с грядущим».

Начну с того, как я оказалась на фотографии рядом с Яковом и как моя жизнь переплеталась со строками Иосифа.

В казахстанской степи был разгар лета, в логах гор Кызыл–Тау все цвело и пело. В этот день я услышала стихи. В степных горах я впервые, на студенческой практике в геологическом маршруте, иду чуть позади Якова Виньковецкого — старшего геолога, художника–абстракциониста, которого несколько побаиваюсь и соблюдаю природноподчиненную дистанцию. У нас нет никаких отношений, хотя я позвонком знаю какую-то предсудьбу, чувствую что-то тревожно–неслучайное во всем происходящем. Смотрю. Тут нет никакой цивилизации, ни зимовок, ни юрт, ни троп — первозданность, природа до нас. Откуда-то издалека доносится звук воды. Степи хорошо прячут оазисы. Около источника присаживаемся. «Давайте я вам почитаю стихи Иосифа Бродского», — вдруг говорит Виньковецкий. И, уловив ответ, только мелькнувший в моей голове, а скорей всего и не думая его дожидаться, он начинает читать: «Плывет в тоске необъяснимой…»

Море звуков сразу приходит в движение. Каждая вещь начинает двигаться. Саксаул, кустарник, камни. Круженье.

«Плывет в глазах холодный вечер.»

И в тоске и объяснимой и необъяснимой поплыли слова. Пение птиц и звук стихов сливаются. Все видимое углубляется в слышимое и воплощается в ритме. Как будто во сне, под волшебным влиянием, все одушевляется. Колдовство. Я испытываю завораживающее действие магии ритма, почти ничего не понимая в содержании. Я не слежу за словами, а слушаю сама не знаю что — полноту своего существования? Ввысь унеслось мое дыхание. И в самый короткий миг, в самый краткий атом моей жизни я ощущаю прилив счастья. Яков читает стихи ритмично и размеренно, как молитву, как песнопение, без

актерского придыхания (Иосифу нравилось Яшино прочтение, как он называл, единственное во всей вселенной, после него). Кажется, что вся предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этому моменту. Все — яркая, мистическая внешность Якова, ритм стихов, простор степи, загадочность, голос судьбы действуют на меня магнетически. Танец слов превращается в любовь. Я поднимаюсь на высшие ступени чувства — к высшему желанию.

Я обретаю самую дорогую драгоценность, которую пронесу до самой смерти Якова.

Воздействие стихов было важнейшим открытием моей жизни. Мне еще предстояло прочесть эти стихи и услышать их из уст автора. И за свою судьбу–любовь еще предстояли отчаянные поединки. «Пора давно за все благодарить.»

Годы спустя — «между человеком и судьбой лежит море слез», — когда Яков был уже моим мужем, в шутливом разговоре я сказала Иосифу, что его стихи помогли мне совершенно влюбиться: «слишком хочется пить в Казахстане». Иосиф, усмехнувшись, добавил, что завидует Яше, так сумевшему использовать стихи: такое быстрое разрешение слова — «заполучить девушку» у него-де не получается. На что я возразила: «Не кокетничайте, вон какой за вами хвост поклонниц. Одних Марин сколько!» И мы посмеялись: как рождаются мифы. Обрывки слухов. Отражения, дикие догадки, неизвестно что. Яков продолжил разговор серьезно: «В этом величие и необходимость искусства. Искусство зажигает свет другого мира». Они с Иосифом стали разговаривать о высших задачах искусства и его метафизической деятельности в жизни. (В Яшином архиве сохранилась их переписка, затрагивающая эту тему. И я бы хотела избежать плоских истолкований слов, прямой речи, неправильных описаний каждого шага.)

Иосиф в первое наше официальное знакомство в Филармонии, когда Яков представил ему меня как свою жену, слишком удивился, смотрел на меня с нескрываемым внимательным любопытством, так проницательно, что я глазами выразила недоумение, мы как бы столкнулись взглядами, он отвел глаза и, мне показалось, смутился. Казалось бы, я должна была смутиться, он уже тогда был подпольной знаменитостью, а тут как-то наоборот получилось. Возможно, что испытующий взгляд, каким он смотрел на меня, ему самому показался слишком. «Главное орудие эстетики — глаз, абсолютно самостоятельный». Я во всеоружии встретила его «орудие эстетики». Почему-то он сказал Якову: «Джейкоб — ты как белый пароход», и что-то про меня, что я такая крошечная и совсем славянского рода или вида. Я посмеялась в ответ: «Исполнилась

мечта маленькой девочки — она села на белый пароход». Иосиф чуть улыбнулся: «Девушки редко позволяют себе шутить». Я ощутила симпатию. Он мне показался красивым, держится властно. Только много позже я поняла, как не всегда можно было ухватить внутреннюю мысль какой-либо тирады Иосифа, проникнуть в подспудный пласт его развернутой метафоры. Он умел высказываться окольными путями. Ведь на самом деле я даже сейчас не знаю, что подразумевал Иосиф под «белым пароходом»? Может, это была просто шутка? Я же вложила в «белый пароход» свое переживание.

Друзья Якова из-за его таинственной еврейской духовности и величественного раввинского вида полагали, что рядом с ним, его женой должна быть серьезная, значительная еврейка или на худой конец «Прекрасная дама», а тут такая неожиданность — маленькая хохотушка. Как-то я не вязалась с Яшиным видом; кажется, нельзя было представить большей противоположности: Яков серьезный, патриархально–духовный, и я — веселая, смешливая. Мое появление в Яшиной жизни было таким непредсказуемым, что некоторые прямо в лицо мне об этом говорили. Олег Григорьев, впервые придя к нам, в недоумении остановился прямо в дверях: «Я думал, что у Якова будет жидовка, а тут такой сюрприз!» Наш начальник экспедиции так тактично определил: «Яков, я полагал, у тебя более изысканный вкус». А у меня. «Нет, ты полюбишь иудея, исчезнешь в нем — и Бог с тобой».

Эра Коробова как-то мне напомнила, что в вечер моего знакомства с Иосифом в филармонии Людмила Штерн показала ей и Иосифу на меня: «Посмотрите на жену Виньковецкого, у нее ноги в кресле не достают пола, и она ими болтает». Эра уверяет меня, что я таки болтала ногами. Я уверена, что им так показалось, но разве можно кого-то переубедить в том, что он «сам видел». С тех пор Эра стала называть меня «дина–заврик» и до сих пор так и называет. А Иосиф почти через тридцать лет, за два дня до получения Нобелевской, написал: «Такая как ты, Дина, на свете одна–едина».

И, как я шучу, за это и получил премию. В воздухе болтаются ноги, руки, голова, взгляды, мысли, судьба. А где же еще им болтаться?

«Тебе нравятся умные мужчины, а мне красивые — кому чего не хватает», — подсмеивалась надо мной Людочка Штерн. Она одна из первых в окружении Якова и Иосифа приняла меня всерьез, в ее отношении ко мне в те времена было много любви, искренности, дружественности, поддержки; я не боялась быть вполне собой, и у нее училась раскрепощению — к себе получше

относиться, к другим попрохладнее. Однако дальше наша дружба рассыпалась.

Что чувствовала я тогда, в те казахстанские времена, когда встретила в экспедиции Якова Виньковецкого и Ефима Славинского — друзей Иосифа Бродского. Яков работал геологом, а Ефима–Славу, как его все называли, взял коллектором–радиометристом. После ужина они приходили ко мне в палатку, располагались на полу и беседовали, вызывая мое восхищение и зависть. Они изумляли меня своей образованностью. Многое о чем они говорили — за пределами моих знаний. Сколько они прочли и как хорошо всё знали! Они читали по–английски, Беккета, Фолкнера, Фроста, Элиота, обсуждали английскую поэзию, ее аналитический принцип расчленения, вставляли английские фразы. Говорили о чем-то мне совсем неизвестном, использовали слова, которые я никогда не слышала. Экзистенциализм. Экспрессионизм. Метафизика языка. Априорная музыка. Конечно, они прилагали усилия, чтобы пощеголять, посостязаться передо мною, продемонстрировать свои беспредельные познания, но ведь знали. «Никто не знал литературу лучше, чем они, никто не умел писать по–русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее», — скажет Иосиф в своей Нобелевской речи о людях этого круга. «… На пугающем своей опустошенностью месте», среди общепринятой заскорузлости вырастали эстеты- индивидуалисты.

Время от времени я смотрела на себя и чувствовала будто появившейся из небытия. «My Fair Lady». Мое воспитание: советская школа, университет, никаких фамильных задатков, «некому было передать палочку». В школе мы узнавали всем известные сведения, «образы» Татьяны Лариной, «Луча света в темном царстве», много прописных истин, всяческие клише, хлам, который вбивался в голову (хорошо бы забыть его навсегда). Заучили несколько стихов наизусть, Пушкина, Фета. Даже «перья страуса склоненные.»

было уже сверх школьной программы. Никакого серьезного образования, одни клочья разрозненных знаний. Обрывки несвязанных истин.

В университете на летней практике в Саблино мы с девчонками под музыку, записанную на «ребрах», под знаменитый рок–н-ролл «Под часами» Элвиса Пресли освоили рок–н-рольные движения и более или менее серьезно ознакомились с американским джазом — вот, пожалуй, все «художественные знания», которыми я овладела в Ленинградском университете. Большинство геологической публики танцевать рок–н-ролл не умело — не всем удалось попасть в престижный университет, и

потому мы, университетские, слыли образованными, — ощущали некоторую элитарность.

И вот мой элитарный танец рядом с мастерскими знаниями. Они вытанцовывают такое, что мне с моими жалкими познаниями лучше не выходить на сцену.

И хотя я жила на уровне чувств, а не на уровне знаний, веселилась, пела и плясала буги–вуги с рок–н-роллами и вся моя жизнь зависела от желания любви, все равно я ощутила комплекс культурной неполноценности. Среди сверстников по университету я чувствовала себя вполне комфортно, ощущала даже какое-то преимущество, особенно перед теми, кто приехал из провинции, из армии, вышел из рабочих. А зачем, собственно, это все знать? Какое это имеет значение? Вроде бы и так не из последних. Однако мне хотелось быть с новыми приятелями на равных, мне не нравилось, что я ничего такого не знаю и не могу поддерживать достойные разговоры. Я хотела бы быть как они. Возникла внутренняя неуверенность, дискомфорт от незнания. Кажется, некоторые комплексы украшают человека?

Только сейчас, насмотревшись, нажившись, наслушавшись, наобсуждавшись, познакомившись с теорией мышления Леонида Перловского (тоже важного человека в моей жизни), пришла к выводу, что мой инстинкт к знанию требовал удовлетворения. Чтобы лучше понимать, что происходит, ты должен вооружиться знаниями, то есть во имя жизни нужно было «обзаводиться внутренними глазами» — читать книги. «Инстинкты склоняли нас к чтению.» Понадобились знания — как способ защиты от мира, чтобы ориентироваться в пространстве, чтобы лучше себя ощущать, испытывать к себе уважение, меньше зависеть от невежественных, да и от вежественных людей.

Перво–наперво я прочла Стендаля. потом Пруста «Содом и Гоморру». Подпольный перевод Кафки. «По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России — и слава Богу!» Кажется, ты захотела приблизиться к этому поколению.

Возвращаюсь в Казахстан. Мои новые сотрудники–эрудиты — Яков и Слава — получали много писем от разных людей, имена некоторых отправителей мне были известны. Горбовский, Битов, Раиса Берг. (Я привозила в лагерь почту и любопытничала: кому откуда пишут?) Как-то раз смотрю на письмо Якову Виньковецкому: на конверте странные каракули — обратный адрес надписан по–английски: from Europe — Джозеф. Покрутила конверт, рассмотрела, письмо из Ленинграда. При чем тут Европа? А!.. Мы ведь в Азии! И кто это такой Джозеф, который пишет как курица лапой, такими закорючками из Европы? Только

из дальнейшего разговора я догадалась, что это письмо от Иосифа Бродского (этот конверт и письмо сохранились в Яшином архиве).

Слава спросил Якова: «Новые стишки прислал? Что Джозеф пишет о наших? Где Галя Патраболова?» Слово «наши» меня заставило удивиться: кто это такие? Кто к ним принадлежит? Свои люди, свой кружок? Что их связывает вместе? Что в том кружке? Я почти ощутила, что где-то есть совсем другой мир вне времени, к которому Яков и Слава принадлежали.

Где-то на первых курсах мы перестали верить советской болтовне, однако отношение к происходящему моих новых друзей вывернуло из головы остатки политических иллюзий. Слава даже как-то забрался в Главной экспедиции на крышу и перерезал провода громкоговорителя, который вещал на весь поселок советские новости, хорошо этого никто не заметил, а то были бы неприятности. Их индивидуальное ощущение меня восхищало. («Мы были американцами еще до того, как сделали первый шаг по американской земле» — так скажет в интервью Иосиф Бродский.) Меня огорчало только, что они с нетерпением ждали конца сезона, рвались к «нашим», к своим, в свой мир, куда я не входила. Я же никуда не рвалась. (Не рвусь и сейчас, ведь там — буду, а сюда уже не вернусь, поэтому я всегда плыву во временном потоке. пока есть вода.) Наверное, моих новых друзей ждет что-то невообразимо привлекательное? Для меня же встречи с ними были великодушием судьбы, их беседы, рассуждения — наилучшими моментами. И было так «жаль, что тем, чем стало для меня (их) существование, не стало мое существование для.» них. Я почти самой последней покинула экспедицию.

Впоследствии Яков занимался геологией как наукой о времени. Время, по Канту и Льюису, не подлинная реальность, но лишь форма нашего человеческого восприятия. Яков говорил об ощущении времени как о глубоко индивидуальном процессе, о том, как в течение жизни у каждого человека отношение со временем может меняться. Абстрактная идея времени. у Иосифа. Думается, что с взрослением время идет быстрее, как долго раньше я шла в школу! Это время было так насыщенно, как если бы я проводила его где-то в заграничных городах. Несколько раз в жизни я испытывала, как время рассыпается. или так мне казалось, но это другая история.

Позже, уже в городе, в геологическом подвале, где зимой мы обрабатывали летние экспедиционные данные, я опять увидела слово «наши». Как-то к нам в комнату вошла уверенная, величественная, хотя и невысокого роста женщина с экстравагантно накинутой на плечи шалью. Я сразу поняла, что это к Якову, хотя сидела спиной к двери. На стол Якова

приехавшая из Москвы поэтесса Наталья Горбаневская положила записку. Его она не застала и что-то ему написала. Из-за интереса к Якову я не могла не прочесть записки. Поэтесса куда-то его приглашала и внизу приписала: «Там будут все наши». Меня кольнуло слово «наши» — горечь, что меня среди них нет. Кто же это такие «наши»? Что это за люди? Это — не университетские. Это — богема. Это — та подпольная элита, о которой я слышала, и даже посещала отдельные выступления в Библиотечном институте, в Доме культуры промкооперации. Поэты, художники–модернисты. Абстракционисты. Отдельные от всех, живущие в другом мире, в ином городе. Загадочный круг. Сообщество. Культурная элита. Мне хотелось приблизиться к ним, войти с ними в одну колею. Отсутствие себя в их мире я ощущала как пустоту, отрешенность от действительной жизни, которая происходит где-то на «Белом пароходе».

Как-то вечером мое желание что-то узнать о «наших», об этом круге реализовалось. Ефим Славинский — Слава, с которым я случайно встретилась на Невском в «Лягушатнике», пригласил меня зайти с ним в один дом: «Тут недалеко, там, может, будут читать стихи, может, Хвост будет выставляться. Посмотришь.»

Я так отчетливо запомнила эту первую встречу с подпольной ленинградской богемой, как будто это произошло вчера. Это посещение осталось самым памятным, хотя отдельные последующие мои встречи тоже оставляли яркие впечатления, но ведь это было самое первое столкновение с «нашими». Наверное, так и должно быть.

Мы пошли куда-то в район Староневского, в дом поэта Аронзона, — кроме Виньковецкого и Славинского, я из «наших» никого тогда не знала, никакого отношения к богеме не имела и пришла как зритель. Я думала, может, там встречу Якова или Иосифа.

Вошли в большую–большую комнату, заполненную людьми, дверь открыла какая-то взлохмаченная девица, сразу исчезнувшая. Без — здравствуйте! Без — проходите! Никто не обратил на нас внимания. Вся комната представляла несколько странную картину: вдали несколько человек разговаривали, кто-то печатал на машинке. Ближе к двери один небритый играл на половине стола в какую-то игру, на другой половине лежали обрывки картин. На стенах висело несколько цветных бумажных абстрактных картинок, вразброд, но это не выставка. Шторы на окнах раскрашены полосами или так повешены одни на другие? На полу лежал холст, и под ним кто-то растянулся, виднелись только ноги. Явных пьяных не видно, хотя на маленьком столике стоят две пустые бутылки. В воздухе вместе с запахом дыма, от

которого сумрачно и все будто в нем растворяются, носится запах краски. Я присела на краешек тахты. Смотрю. Два парня около окна давят тюбики краски. Один из давящих — изящный, красивый с длинными волосами, будто трубадур. Его партнер обращается к нему: «Хвост! Где ты вчера завис?» Тот, к кому обратились «Хвост», что-то ответил, потом расстелил газеты и стал кистью, наотмашь разбрызгивать облака красочной пыли. Появлялись какие-то узоры, красивые абстрактные кляксы. «Енот, подкинь еще пару .» Я поняла, что это и есть художник Алексей Хвостенко, о котором слышала.

Слава куда-то исчез. Его позвала какая-то Лора на кухню. Какие-то девицы курят и бегают взад и вперед. Меня никто не замечает. Печатающий на машинке время от времени довольно громко вскрикивает: «Гениальные стихи выдаю! Мои стихи — гениальные!» Никто не реагирует на его высказывания. Чувствую полную отрешенность. Никто ничего меня не спрашивает, не знакомится и даже не смотрит в мою сторону. Однако не только на меня, но и друг на друга, кажется, «наши» тоже не больно-то обращают внимания. Люди смотрятся как чужеродные. Все какое-то дискретное. Нет ни интимности, ни величественности. Хочу спросить: «Куда я попала? Вариант дворов Ренессанса?» Только с этим впечатлением не вяжется какая-то суетливость, мельтешение в воздухе. А может, это немножко сумасшедший дом? Вдруг один небритый, игравший во что-то, встает и, проходя мимо меня, рукой подбрасывает мои волосы, мимоходом. И, обращаясь к углу, произносит отрывисто и быстро: «А не хотите ли со мной. прошвырнуться?» Не дожидаясь моего ответа — я успела чуть хмыкнуть, — будто растворяется. Я уже его не вижу. Минуты через две подходит другой, заскорузлый, показалось даже — кривобокий, и несколько секунд молча смотрит на меня в упор странным взглядом, оценивающе, даже с некоторой надменностью. Я спрашиваю: «Что? Что вы хотите?» — «Я хотел взглянуть на ваше янтарное кольцо», — небрежно произносит он, мол, не подумайте чего другого. Берет мою руку и слегка поглаживает. я убираю руку и смеюсь. Меня они смешили. Всегда разрядка в смехе. Смех для меня был мощной защитой — «громкий смех, как поминальное словцо». Кривобокий отходит от меня с таким пренебрежительно–апатичным видом, будто только кольцо его интересовало, а на самом деле ему все безразлично, и я в том числе. И это правда.

К тебе — никаких эмоций, взгляд через тебя. Мне сразу бросилось в глаза это отсутствие интереса к другому, чувства понимания другого. Полное безучастие. Тогда я кожей впервые ощутила страх перед таким абсолютным безразличием. Чувствую,

что, кроме себя, они никого не видят. Такой способ поведения, ухаживания, ни с того ни с сего, если, мол, буду отвергнут, то и наплевать. Они будто стараются ничем себя не выдавать, нейтрально–небрежный вид, главное — себе показать свои успехи и мелкое превосходство над другими.

Тогда я изумилась такому «зацикливанию на себе», такому нарциссизму, как будто люди смотрят только в зеркало, а не в окно. Бросилось в глаза это глубочайше отсутствие чувства сопереживания с другими, ведь всем, казалось бы, холодно и одиноко. Это удивление и впоследствии меня сопровождало и сопровождает. Может быть, тогда оно было в чистом виде? «Не отдают» — так я теперь называю эту присущую многим черту — ни достоинств другому, ни таланта, ни ума. Русские трубадуры.

Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске.
Способные к сношению везде.

А какая мания величия! Если кто-то может вести себя хоть чуть–чуть непредсказуемо, с некоторым уклоном в мысль или интуицию, тот уже метит в гении. Каждый стоит на тумбе со знаком: Я — номер один! Все пишут шедевры, и все претендуют на гениальность. И вся гениальность оборачивается закрытостью, погружением в себя. Небывалая эпидемия гениальности, которая разразилась в Ленинграде в шестидесятых годах нашего столетия, отмечалась некоторыми авторами. Их самооценка тоже не соответствовала какой-то высшей истине.

И, безусловно, каждый считает, что девицы должны принадлежать ему. Для себя я не рассматривала таких вариантов принадлежности — холодных чувств и мгновенной эротики. Меня они не привлекали как мужчины. Не то чтобы я боялась поэтических страстей, а хотела отмеренных, бухгалтерских, нет, я ждала воссоединения в любви с тем, кто глядит по сторонам и видит тебя. А это — «дети, превратившиеся в мужчин, упорно застрявшие в ипостаси подростка».

Появлялись какие-то люди будто ниоткуда и уходили будто в никуда. Приходили и уходили. «Виньковецкий вчера.» — кто-то упомянул. Кто? Но я не слышу, что про него сказали. Что-то говорят, и я не могу разобрать. «Серебряный век. голос Вейдле». Один разлохмаченный вдруг привлек мое внимание. Слышу: «Алданский щит.» Кажется, он расспрашивает Славинского о геологических экспедициях. «Старик, слышал, что Кузьминский про Рыжего говорит?» Я прислушиваюсь. «После экспедиционной голодухи Ося, глядя на кусок белого хлеба, воскликнул: «О!

Булка!»» — «Поэт! — включается в беседу еще один, иронично добавляя: — Смесь царя Соломона с Ван Гогом! Пишет больше псалмы, чем стихи». — «Ну, не скажи, старик, он хоть и нагнетает стих, навзрыд, закрывает глаза, но это — поэзия.» — возражает Славинский. Я догадываюсь, что речь идет о Бродском. Печатающий на машинке громкой скороговоркой начинает читать свои стихи, всех перебивая, и я уже ничего ни про кого не слышу. Все хотят читать свои стихи. А стихи вялые, невнятные, посредственные. Никто никого не слушает. Все отмалчиваются. Все как будто в масках. Соцреализма нет, но есть самоослепление. Всяческие пустяки выдаются за шедевры.

Это было как спектакль без сюжета, но с декорациями. Актеры — поэты и художники (я не буду их называть по именам, некоторые из них стали серьезными художниками, поэтами), атмосфера — обольщение отрицанием. Были и праздные люди, так, чем-нибудь перебивались, но считались тоже богемными.

Занавес опустился, и мы раскланялись. И такой зритель, как я, уходит в смятении, внутри меня возникает беспокойство и неудовлетворенность. Не понравился дух бравады, оттенок презрения, выспренность. Почему самостоятельность ума проецируется в виде хамства и самоуверенности? Мне показалось, что они предадут и себя и других. И почему нельзя сочетать богемность и человеческое достоинство? Где те люди, которые совмещают и то и другое?

«Не верь, не верь, поэту, дева» — вертелись в голове строчки Тютчева. То, куда я так тянулась, при встрече не вызвало у меня восхищения. Мои ожидания не совпали с увиденным. Придуманные идеалы рассыпаются, и неуютно. С одной стороны, протест против официального, таинственность, необычность, отрицание, насмешки над действительностью привлекают, но другая сторона души что-то отталкивает в этом отрицании. В негативности, в отрицании целая категория способных людей черпает жизненную силу — ну и что? И может ли отвращение создавать пространство, в котором можно жить?

И недавний зритель, казалось, готовый насовсем отвернуться от этой картины, делающий выбор в пользу реальности, вовсе не отказывается от «богемных» идеалов, потому как сам ведь относит все происходящее во внешнем мире к себе лично. И так всегда. Живет между тем и другим — там и не там, блуждая и во времени и в пространстве. Стоит на перекрестке и радуется, что осознает себя стоящим. Может, из путаницы возникает смысл?

Из маленького визита я сделала глобальные выводы, наверное, я слишком напридумывала и в ту и в другую сторону? Но все равно:

«Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна».

По нашей Северной столице в шестидесятые годы ходили стихи Иосифа на листочках. Их перепечатывали, размножали, переписывали. Одним из самых первых «издателей» стихов Бродского и распространителей был Константин Кузьминский. Он собрал полного Бродского на декабрь 1962 года, и через его иностранные знакомства, в частности через Сюзен Масси, стихи двинулись на Запад. Кузьминский был исключительной личностью. Он испытывал экстаз от словосочетаний. Слово любил больше людей, кажется, больше себя и ради словосочетаний способен был потерять приятелей и друзей. В те годы Кузьминский провозгласил в поэзии первичность звука и развивал теорию «звукового стихописания», что было новым, экспериментальным и вдохновляющим.

Звук в его стихах впоследствии совсем заменил смысл. Кузьминский — наш Джойс — на вечере в Нью–Йорке читал поэму, посвященную как бы мне, где членораздельными были только первые фразы: «Динка, ее грудинка гладка, как спинка. О! Не тростинка!» Дальше на полчаса шел текст из набора слов. «Бумба. Тумба. Тамба. Мамба.» Негр, сидящий в зале, подпрыгивал в ритм поэтической речи Кузьминского. Иосиф, присутствовавший на том вечере, не выступал, а пришел послушать, и хоть и сам был за звук, за просодию, но и для него было слишком много Костиных звуков. В перерыве Иосиф сказал мне что-то вроде того, что «Кузьминский как перед вами развыпендривался», точное слово я забыла, или «развернулся»? Я отшутилась: «Костя меня в свой гарем заманивает: Яшка умрет — возьму тебя в гарем!» — «Думаю, что вы от этого предложения откажетесь», — иронично сказал Иосиф.

Костя «издавал» стихи из любви к поэзии и особенно превозносил питерскую поэзию. В своей «артистичной норе» Костя устроил выставку 23 художников из подпольной богемы. Он создавал вокруг себя маленький островок независимости, всегда был окружен бесчисленным количеством поэтов, поклонников и поклонниц, которые в него верили и считались его учениками. Мистифицировал немножко под Волошина. Во время чтения стихов Кукиным, в библиотеке Маяковского, Кузьминский со своими поклонниками демонстративно вышел. Кукин вдогонку: «Я знаю, вы уходите потому, что вам не нравится тематика моих стихов». Костя, обернувшись: «Да не тематика, Лева, техника — дерьмо!» Отомстил за Иосифа. (Кукин пытался сорвать вечер Бродского во ВСЕГЕИ.)

Своей откровенной прямотой Кузьминский быстро наживал врагов. Тот самый случай, когда правда в ущерб тактичности.

Кузьминский ни перед кем не заискивал, любил эпатировать аудиторию своим эксгибиционистским вдохновением, считая, что без обнажения, без чрезмерной откровенности не может быть искусства. Уже в Америке он составил большую антологию подпольной поэзии, бесцензурного творчества русской словесности. Мне не так уж понравилась эта смесь «У Голубой лагуны». Получился большой капустник, самодеятельность. Но пусть будет как показ, что поэты и писатели интуитивно противодействовали искусственному разрыву традиции и поддерживали культуру. В результате «духовной кастрации. наши идеи обладают для нас почти гипнотическим обаянием первородства».

Невысоко ценя женскую поэзию, Кузьминский составил смешную книжечку из отрывков стихов поэтесс «Ах, зачем я это сделала?» с посвящением Марине Цветаевой и Анне Ахматовой. Приложил список одежды из строчек стихов Ахматовой: «Во что одевалась Анна Ахматова». А как Кузьминский не любит женских мемуаров, сколько он написал уничтожающих пародий! «А я была в голубом.» И вот я предоставляю ему еще одну возможность пройтись и по моим оборочкам.

В его словах, статьях часто звучал издевательский подтекст, он создавал легенды, иногда недоброжелательные. Неоднозначным было отношение Якова к Кузьминскому, если на Кузьминского воинственно нападали, то Яков его защищал, хотя духовный строй личности Кузьминского (ерничанье, злословие) не одобрял. Не только в России Константин выделялся своей оригинальностью, одеждой, кожаными штанами, шляпами, палками, но и в Америке, где почти невозможно никого ничем поразить, он все равно мог ошарашить публику каким-нибудь расшитым балахоном, торбой, гончими собаками, толпой поклонников, и американский прохожий невольно останавливал на нем свой взгляд. Видела, как проезжающая мимо Кости машина замедлила движение и даже попятилась назад, шофер и пассажиры чуть не вывернули шеи, озираясь на суперэкстравагантного Кузьминского. Он шел в каком-то азиатском кафтане, перевязанным жгутом, опираясь на палку–посох. Газета «Нью–Йорк Таймс» сравнивает Кузьминского с американским поэтом — «битником» Гинзбургом, который тоже бросает вызов истеблишменту и считает себя «мост брильянт мен ин Америка».

Кузьминский был хулиган, всегда в оппозиции к моде, к пошлости, и он таким и остался — себе не изменяет и всегда остается самим собой. Ты с порога знаешь, с кем имеешь дело, все говорит об этом: и лицо с хитрыми глазами, и слова,

отзывающиеся о людях резко и иронично. Он не лицемерен. И если о нем пишут гадости, бросают в него лимоны, как говорят американцы, то он из них делает лимонад, пьет сок и получает наслаждение. И скорее обижается, если в него ничего не кидают. Как бы не забыли. (А бывшие изысканные поэты и писатели, которые отводили глаза при слове «жопа», и кто бы мог подумать, что они способны вылить друг на друга такие непристойности, такие журнальные пошлости, что даже байки Кузьминского кажутся почти невинными, во всяком случае не такими чудовищными. По–видимому, «они не знают, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы», как говорил Борис Леонидович.) У меня для Кости всегда остается чувство любви и признательности за мои первые «Илюшины разговоры». Кажется, Костя, твоя была идея, что стариков нужно душить, пока они еще молодые?

Встреча со стихами Бродского была знаменательной не только для меня. «Бродский сразу спустил на воду броненосец — его видно издали, других можно было разглядеть в океане поэзии только через бинокль или подзорную трубу», — скажет писатель Давид Дар, в те времена влиятельный наставник молодых литераторов и поэтов. Загипнотизированные величием «Броненосца», отдельные лодки причаливали к берегу и больше никогда не выходили в плаванье. В юности почти все пишут стихи, но тот, кто осознавал выразительность языка Иосифа, разницу между собой и новым уровнем поэтической стихии, кто чувствовал высокие эстетические требования, которые выдвигались стихами Иосифа, кто не хотел быть потопленным, кто не хотел соревноваться, — для тех стихи переставали быть главным их занятием. «Почему ты перестал писать стихи?» — спросили одного геофизика–поэта в нашей экспедиции. «Бродский всех теперешних поэтов прикрыл большой крышкой, и под той крышкой я закончил свою поэтическую карьеру. От его стихов на вечере во ВНИГРИ я обалдел и понял: мне такие стихи не написать. Даже подражать ему невозможно. Одним словом, мне писать стихи мешает величие стихов Бродского».

В начале шестидесятых Иосиф дружил с геологом Сергеем Шульцем, сыном заведующего кафедрой геоморфологии С. С. Шульца, у которого я училась. Они обменивались литературой, журналами, фотокопиями, копировали интересные материалы из «Современных записок». Более четырех тысяч страниц журнала было ими перекопировано, помимо «Записок» они много чего еще перепечатывали: четырехтомник Ануя, пьесы Беккета, полного Т. С. Элиота. Сергей писал стихи, «некоторые — по оценке Иосифа — просто замечательные». Будучи в ссылке, Иосиф по строфам

разобрал Сережины стихи, и «более глубокого понимания смыла написанного и звукового ряда мне не довелось слышать», — напишет Сергей об этом разборе. Но Сергей оставит серьезное занятие поэзией, поставит свою поэтическую лодочку на якорь. Он станет ученым, доктором наук, историком. Издаст несколько книг по истории архитектуры Санкт–Петербурга. И когда уже в девяностые годы мы встретились с Сергеем, он признался, что рядом с Иосифом не мог писать стихи — у него не было такой стихии поэзии, как у Иосифа. И в своем эссе о Бродском напишет, что «не встречал ни одного человека, в котором стихии поэзии, вдохновения и свободы, рвущейся из земных пут, было бы больше, чем ее было в Иосифе Бродском».

Друг юности Иосифа Яков Гордин тоже писал стихи. Он посвятил Якову Виньковецкому вдохновенный стих, даже с пророческими строчками: «...и в ересь впасть, и умереть ересиархом и изгоем». И вот, после того как совсем недавно был издан сборник стихов Якова Гордина «Памяти птицы», можно видеть, что он был одаренным поэтом, лучше других известных стихотворцев. Но если в юности встретишься с Иосифом и его стихами и понимаешь их как нечто значительное, то начинаешь сомневаться в своих опытах, и через какое-то время сомнения побеждают поэзию. Яков стал историком, писателем, общественным деятелем.

Константин Азадовский, тоже давний друг Иосифа, литератор, переводчик с немецкого, тоже уклонился от соблазна писать стихи. Почему? «Трудно было писать рядом с Иосифом», — сказал он мне, восхищенной его переводами стихов Рильке.

Жаль или не жаль? Так они чувствовали, а правильно или нет? Они свое поэтическое вдохновение перенесли в другие занятия.

Теперь новые царят мысли. Новые соблазны. Новые жанры (шпионские и детективные не в счет). Другие властители дум. «Мир больше не тот, что был прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, кушетка и комбинация, соль острот». «Теперь всюду антенны, подростки, пни вместо деревьев...». В новые времена в момент догнали и обогнали Америку по производству макулатуры на душу населения. Издается, печатается, показывается все подряд. Магазины завалены. Натиск ширпотреба. Фантазии, восторги, доморощенные умозаключения, изощренная расхлябанность, будто не было никакой приличной литературы. Возникают какие-то мнимые величины, выдвигаемые прессой и знатоками. Но так и должно быть — это свобода. А как тут разобраться, где свобода, а где своеволие — «все позволено»? Понятия добра и зла совсем перепутались, «удобного» внешнего

врага вроде нет, и тут встречаемся с другим злом — внутри нас.

Старая структура еще не рухнула, советская кровь еще течет в наших жилах, и новые вливания мыслей и идей трудно смешиваются. Опустошенное сознание привыкло жить и думать по установившимся законам «великих принципов» и сопротивляется реформации своих мыслей. Особенно тяжело переходить от коллективного ощущения–сознания себя к индивидуальному. Сужу по себе. В великой постройке общего блага человек считал себя камушком. Ни блага, ни постройки. Остались одни камушки. «Потеря Я — это болезнь века» — так писала Надежда Мандельштам, и вот мы, потерянные камушки, в новый век начали обретать искать свое Я? А с чего начать? И где оно спряталось? И как обрести заново личность, если мы привыкли, что мы ни за что не отвечаем, а уж о душе и думать не думали?

Все строилось на лжи и было готово распасться в любой момент, как и произошло. «Бог сохранил не все, и фараоны пали». И в этом распаде, всем известно, не последнюю роль играла литература и поэзия. Как выразится Иосиф, его «доля тоже стала ингредиентом нового варева». Стихи колеблют весь жизненный уклад. Власти боялись стихов и правильно делали.

И хотя в опьянении свободой поэзия обесценилась и люди все больше смотрят в телевизор и в компьютер, порой даже кажется, что вообще скоро перестанут разговаривать, — это опьянение свободой или болезнь? Отсчет времени теперь другой — интернетный, перенасыщенный информацией, да и людей поприбавилось. «Того, что грядет, не остановить дверным замком».

Когда Иосиф Бродский вступал в должность поэта–лауреата США, он думал, что сможет чуть–чуть помочь распространению поэзии в Америке. Иосиф рекомендовал продавать недорогие сборники поэзии в аптеках, в супермаркетах, думая пробудить интерес людей к поэзии, хотел, чтобы антология американской поэзии лежала в тумбочках отелей рядом с Библией, надеясь, что это может быть осуществимо в Америке. «Я подхожу к своей работе в духе служения обществу, и никак иначе». Но Иосиф столкнулся с таким бюрократическим сопротивлением, что не остался на второй год — он был приглашен на два года работать в Библиотеке Конгресса — и оставил свои утопические мечты «служения обществу». «Форма умственного ускорения», «красота, воплощенная в словах» остаются для другого столетия, а пока толчком к массовому вдохновению являются соображения прибыли. И когда «перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд»? И какие будут писать стихи в новом веке и

какое будет мироощущение? А пока что, как всем видится, ничего не имеет большего будущего, чем денежные знаки. У человека в старости сжимаются чувства, исчезает вдохновение и усиливается интерес к заманчивой музыке звуков золота, а не к звукам поэзии. Может, так и у общества на закате все чувства и порывы обращаются к золоту, к деньгам и общество наслаждается своими миллионами в виде колонок цифр, а не строфами слов? Но наша русская демократия еще не такая старая, как американская, и у нас еще есть надежды «продлить поэтические сны в действительность». Хочется и помечтать, и утешиться пророчеством Иосифа о русском языке, что он «самое святое, что у нас есть», что в нем есть невероятный потенциал (что подтверждается математической теорией Леонида Перловского). И в будущем язык выведет Россию из тупика. И мы будем находиться в состоянии постоянного изумления перед своим языком, как делали наши далекие предки, «чтоб мир не захватили новички, коверкая сердца и падежи».

Наверное, это поэтическая иллюзия, что новое общество может излечиться от варварства поэзией и что можно основать государство на поэзии, разве что поэты будут стоять с ружьями.

Может, кто-то будет озадачен моими сравнениями Иосифа Бродского и Якова Виньковецкого, один получил почетные степени, огромную популярность, увенчанную Нобелевской премией, а другой известен только узкому кругу друзей и почитателей, один просто приятель, а другой — моя судьба, но есть их общее воздействие на мою жизнь.

И в том и другом была исключительность личности, трагическое ощущение и эсхатологическое сознание. Оба были не способны на банальность. И были способны видеть других людей. Сейчас я только провожу близкие параллели; были и различия, о которых скажу позже.

Видение других — это редкий дар, особенно у мужчин, ослепленных своими мыслями, идеями, не открывающими окон для мира. Женщины рожают других людей и чутьем знают, что другие — «они» есть, и в женской половине рода человеческого меньше встречается мудаков, но и гениев тоже. «Если бы мужчины были менее поверхностны, вокруг себя все бы видели и человеческое сознание умело бы увязывать реальность — род человеческий бы вымер», — так серьезно шутит Перловский. Наверное, многие несчастья людей от закрытости друг от друга и полной зацикленности на себе. Человек «не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным», — пишет Ахматова. А Иосиф сожалеет: «В этом гребаном мире писатели так эгоцентричны, что просто нечего читать». Представьте: все открылись! Перед концом

света все начитались, и начитанные спускаются или поднимаются по своим местам.

Иосиф и Яков оба принадлежали к одному поколению, оба родились перед войной в Ленинграде в еврейских семьях. Родители Якова позволяли ему делать все, что он хочет, и родители Иосифа тоже не вмешивались ни во что, держались на заднем плане. И у того и у другого послевоенная ранняя собственная ответственность перед жизнью и — в противовес коллективизму — дух абсолютного индивидуализма. Оба были высокообразованными, познания Якова и Иосифа были энциклопедическими и глубокими. Хотя Иосиф, как известно, получал образование, что называется, на дому — сам, но по сравнению с ним наше школьно–законченное — детский сад, часто вредный своими припаянными истинами. Одно время они оба учились в Анне–шуле, рядом с кинотеатром «Спартак», «в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе». Яков закончил Горный институт, и геология, помимо поисков полезных ископаемых, была для него наукой размышлений о форме застывшего времени. Окаменелые ритмы геологических слоев он хотел переложить на музыку и услышать музыку Земли — каждая планета во Вселенной имеет свою музыку. Свои философско–геологические размышления он изложил в трактате «Геология и общая теория эволюции природы» и даже его опубликовал. Другим познанием себя и мира для Якова была живопись и теоретические исследования влияния искусства на психику.

В этом эссе я не могу представить всех друзей Якова, написавших о нем стихи, воспоминания, — будет отдельная книга о том, «как было жить ему непросто в кругу обыденных людей, в стране неисправимых Гостов и общепринятых идей!» — скажет о нем коллега–геолог Александр Городницкий. Дмитрий Бобышев посвятит Якову один из лучших своих стихов «Стигматы». «Достоинство» — так назовет статью о Якове писатель Игорь Ефимов. «Всю ночь мы говорили о свободе воли.» — напишет о Якове поэт Игорь Чиннов. «Светлой памяти Якова, друга юности» Андрей Битов посвятит книжечку своих первых рассказов. Открывая выставку Яшиных картин в музее Анны Ахматовой, Андрей сказал: «Яков был мой первый друг, мой друг бесценный, я любил его, как брата, даже больше, чем брата.»

И у Якова, и у Иосифа был дар дружбы — участие в другом человеке. Люди ускользают от друзей, как это часто бывает, с тобой сидят, пьют, разговаривают, дружат и потом — ни звука. У Якова по отношению к друзьям и просто приятным ему людям всегда оставалось место для звука, и у Иосифа тоже.

И что бы сейчас ни писали разные мемуаристы об Иосифе из-

за своих личных обид и зависти, но кто из них сравнится с ним по участию, которое Иосиф принимал в людях? Интересно, кто? Кто был так предан друзьям? Кто знакомил, устраивал, писал рецензии, предисловия, дарил плащи, деньги. Кто? И кто держал связи между друзьями? «Я любил немногих, однако сильно».

Яков рвался на волю от любви, свою «сердечную свободу» не хотел терять. Говорил мне, что не хочет разделять, как собственную кожу, ни с кем свою судьбу. Человек должен охранить себя и стремиться ввысь. В этом наилучшее доказательство независимости. Он не хотел привязываться ни к одному лицу, будь оно самым любимым, хотел полной независимости. Читал строчки Иосифа, вот, мол, Иосиф тоже не думает ни с кем связывать свою судьбу, с очагом семейной жизни:

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Эти строчки были для меня горькими. И эти слова тоже сохранились. Наш роман был мучительно–неопределенным. Ни уверенности, ни стойкости в наших отношениях долго не было. Яков проводил свободное от работы время в своем кругу, а я в своем. Была некая загадочность, моментами почти безнадежность, даже не черта, а стена, которую, казалось, я не смогу преодолеть. Сколько противоречивых состояний вызывает нежность, влюбленность, страсть, и как сам себя можешь увести в тупиковую ситуацию. И вдруг внезапно тайная подруга становится женой Якова на целых восемнадцать лет, до самой его смерти. В результате нашего союза Яшина серьезность соединилась с моей смешливостью. Я привлекала Якова как некий вид компенсации его чрезмерной серьезности. Он никогда над собой не подсмеивался, не был шутником, хотя игру слов любил. «В твоем смехе есть что-то первозданное», — говорил мне Яков и, видно, захотел пожить в первобытной обстановке. У меня никогда не было никаких принципов «как надо», не было никаких жестких правил, а только чувства и интуиция. Я не была ни капризной, ни трудной, хотя и вполне свободной не была. О себе я тогда имела смутное представление, была несложившаяся, неопределенная. И только позже через взаимную любовь я открыла и себя, и других людей. И могу точно сказать, что не только страдание, но и счастье могут приводить людей в сознание. До свидания, господа психологи.

В поле любви Якова я ощущала поддержку и одобрение и

моих шуток, и нелепых высказываний. Их иногда наши сотрудники записывали, отвлекаясь от скучных научностей, на обоях геологического подвала, где мы работали.

Недавно наш геофизик Вадим подарил мне эти настенные отпечатанные афоризмы. Не бог весть что, не Аристотель, но отдельные из них радостно–ироничные и озорные — предвестники моей литературной деятельности.

Еще будучи в статусе гелфренды, как теперь выражаются, я вместе с Яковом посещала петербургские квартиры, встречалась с его друзьями и приятелями. Приоткрою несколько старых комнат, микроскопических мирков Петербурга, где в те времена встречались люди, ищущие чего-нибудь необычного, отличного от общепринятого мироощущения. Такие кружки образовывались вокруг какого-нибудь человека, яркого и значительного, конечно, если у него было пространство для встреч и желание. Островки подлинного человеческого общения, культуры, традиции и независимого сознания. Благодаря таким островкам только и возможна была жизнь в той России.

Одним из таких мест был Клуб Бориса Понизовского на Стремянной. Понизовский выделялся из любой толпы своей величественной львиной головой, сверкающим взглядом, протезами и дюжиной поклонниц. Его я заметила задолго до знакомства — около входа в БДТ, он опирался на палки, окруженный юными обожателями. Он запоминался каждому, кто хоть раз его видел. На осанистом теле — голова Зевса. Его звали «Король театра», вспоминается: «забытых королей на свете тьма». В квартире Понизовского было что-то вроде древнегреческой академии, обсуждали будущее планеты, Кьеркегора, Шестова, Сартра, Хайдеггера. В комнате летали фразы: «Ты не понимаешь метафизического смысла «космоса»; «Он (не помню кто) не решает проблем пространства, не углубляется в понимание «модели вселенной Эйнштейна». Там знакомились. Все стены его комнаты были завешаны картинами и фотографиями, в центре висел портрет худощавого человека, похожего на араба, — Камю, как сказал мне Яков. Везде валялись книги по Востоку и театру. Понизовский устраивал у себя маленькие выставки, и одна из первых выставок Якова Виньковецкого была у Понизовского. Борис был завораживающий импровизатор и рассказчик. Он с таким вкусом рассказывал о театре, создавая театр своим воображением, что я больше, кажется, никогда не слышала таких захватывающих представлений. Вот театр абсурда: зритель становится актером, а актер — зрителем. Вот зрители висят в центре шара, а сцена летает вокруг них. Тот «сногсшибательный» спектакль Игоря Димента «Фантазио» в театре «Эрмитаж»,

который я описала в повести «Горб Аполлона», был вдохновлен и поставлен благодаря Понизовскому. Борис знал все о театрах — и о греческом, и о французском, и о японском кабуки. Он придумывал удивительные театральные костюмы и, говорят, даже сам их шил, не знаю, кто мастерил их, но окружавшая его стайка подружек была одета по высшим канонам портняжного искусства, вызывая зависть и восхищение.

Конечно, говорили и спорили о литературе. Откуда-то появлялись уникальные издания — «Поэма конца» Цветаевой. Из клуба Понизовского «Тошнота» и «Чума» бродили по городу в копиях.

Клуб Бориса Понизовского посещали разные привлекательные личности, друзья Яшиной юности: поэты Иосиф Бродский, Глеб Горбовский со стихами о коммунальносюрреальном быте, писатель Андрей Битов, художники Лев Нусберг, Михаил Кулаков, писатель и любитель острот Сергей Вольф, рассказывающий так артистически анекдоты, с таким удивительным звукоподражанием, что как только он открывал рот, публика уже хохотала. И еще Сергей все время спорил со своей невестой: «Нина, что ты имела в виду, купив рыбу на рынке?..» Борис Понизовский создавал вокруг себя как бы школу. Со многими Борис был «на вы». Это возвышенно–ироничное обращение удивляло иностранцев, владеющих русским языком, друзья одного возраста разговаривали, держа дистанцию — алкоголь, мат–перемат — и. «идите вы на.».

Яков долгие годы оставался в друзьях с Борисом, но потом они отдалились. Понизовского интересовал не только театр и литература, а еще и горящие глаза молодых, которых он заряжал энергией. Острый, афористический Понизовский хотел царить и властвовать над поклонниками, хотел быть духовным вождем, и, кажется, в какой–то момент наступала несовместимость Бориса с конкурентами. В вопросах любви равенство исключается. И элегантно скрывающийся эгоцентризм выходил из-под прикрытий.

У Юрия Цехновицера (Цеха), архитектора, художника, фотографа, в его знаменитой квартире на Адмиралтейской набережной тоже собирались «свободные художники».

Юрий Цехновицер был выдающимся архитектором с фантастическими идеями коробчатых конструкций, с перевернутыми столами в комнатах, со сводчатыми потолками, где все двигалось и летало. Он сконструировал потолок из цельного стекла без столбов и перекладин для Мальцевского рынка, его проект отклонили, испугавшись обвала, приняли другой, который Цехновицер «разгромил» в газете, предсказав,

что их потолок обвалится. Когда же в самом деле все обвалилось, то его вызывали в разные организации и допытывались: «Откуда вы узнали, что потолок обвалится? Откуда?» Когда на Невском проспекте все здания до второго этажа захотели перестроить под магазины, Юрий выступил как гладиатор против главного архитектора города, попал в опалу, но Невский в конце концов остался Невским.

Юрина квартира была уникальна и по расположению на Неве, напротив Университета, и по картинам, скульптурам, мебели, умопомрачительной библиотеке. Редчайшие книги, оригинальные издания с дарственными надписями его отцу — журналисту и первому декану факультета журналистики Ленинградского университета. Кажется, некоторые свободные художники подтибривали, прикарманивали себе кое-что из Юриной библиотеки. Я кое–кого знаю, но не назову.

«Идешь к Цеху, надеваешь шляпу, кругом девушки.» — напишет Иосиф в одном из эссе. В нашем архиве есть фотография Иосифа, сделанная Цехновицером в его квартире, где Иосиф в шляпе под зонтом смотрит в громадное зеркало и отражается в нем вместе со стоящим за треножником Юрием. В квартире Цехновицера атмосфера была более светская, нежели философская. Слишком много у Цеха, как его называли друзья, было запутанных отношений с красавицами, и ему было не до абстрактной философии. Гигантская тахта — достопримечательность квартиры, видно, угрожала подсознанию. На этой тахте дремали многие знаменитости и даже Маяковский. Жену Юрия, художницу Иру Новодворскую, Яков считал одной из самых красивых женщин в Петербурге, и у нас в архиве хранится ее изумительный фотографический портрет Юриной работы. В доме у Цехновицера Яков познакомился с Борисом Вахтиным, между ними возникла та редкая дружба, которая встречается у людей, связанных общими интересами и любовью. Та, о которой строки Мандельштама: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен».

Сейчас, наверное, там, «за чертой», снова дружат и спорят о взаимоотношениях язычества, иудаизма, христианства, Востоке, Западе, России.

Борис Вахтин, переводчик с китайского, специалист по литературе и истории древнего Китая, занимал в художественной жизни города особое место. Он был писатель, ученый и общественный деятель. Борис Борисович был удивительно красив и влюблял в себя женщин. Вальяжный, по–барски щедрый, образованный, высокий, благородный, аристократичный. Имея обширные связи и невероятное обаяние, Вахтин устраивал такие

мероприятия, которые тогда были мало кому под силу. Писательница Вера Панова была матерью Бориса, и, несмотря на то что ее мужа, отца Бориса, репрессировали, Панова печаталась и получала Сталинские премии и, конечно, знала многих представителей партийной элиты. Для друзей Борис Борисович был источником спокойствия, тепла и жизненной силы. В то время Борис был одним из самых свободных людей в России. В его доме мы встретили многих людей, которые стали нашими друзьями. Вахтин устраивал многие культурные события в Ленинграде и видел дело своей жизни не в политической борьбе, а в посильном сохранении и развитии национальной культуры. Борис Борисович организовал выступление Якова Виньковецкого об абстрактной живописи в ленинградском Доме ученых в Дубовом зале, через полтора месяца после хрущевского погрома на выставке в Манеже. Зал был переполнен, специально для участия в вечере из Москвы приехал знаменитый Кома Иванов. С российской трибуны тогда впервые прозвучало имя Джексона Поллока, вольные рассуждения. Доклад Якова «О возможности моделирования творческих процессов в живописи» содержал теоретические описания процессов создания и восприятия абстрактных картин. Для оттепели начала шестидесятых это событие воспринималось как предвестник появления свободных дискуссий, выставок, чтений, выхода из подполья, чего, однако, не произошло.

«Вы — язычник, сударь», — ласково говорил Яков Вахтину, когда они обсуждали влияние религии на сознание. Борис как будто симпатизировал политеизму, предполагая, что любая форма человеческой деятельности освящена различными божествами. Он упрекал Якова в идеализации христианства. Яков настаивал, что для него в христианстве начинается понятие о добре и зле, исчезают жестокие законы язычества. Один смотрел на религию как на общественную структуру, а другой — как на индивидуальный путь к истине. Для Бориса единобожие было сродни диктатуре, а политеизм — демократии.

Подобный «социальный» взгляд на религию я потом встретила у Иосифа в его эссе «Бегство из Византии», где он сравнивает монотеизм с диктатурой. Однако не «всем богам он посвящает стих», и неоднократно Иосиф говорит и пишет о своем интровертном восприятии религии как монотеистическом векторе.

Кажется, один из немногих в Ленинграде, Вахтин написал открытое письмо в защиту политических заключенных, которое передали в 1968 году по «Голосу Америки». Борис не одобрял наш отъезд в Америку, считая, что Яков должен жить в России, что,

несмотря на российский холод, под чужими небесами он не согреется.

Позже в Хьюстоне Якову приснился сон–явь, будто он стоит где-то на Черной речке, где одно время жили Вахтины, вода в реке черная–черная и крутится кругами. Вдруг он вполоборота видит проходящего мимо Бориса, без шапки, огорченного, угрюмого. Борис идет по направлению к реке и не узнает Якова. Яков хочет догнать его и попросить прощения у Бориса за то, что уехал из России. Кричит ему в след: «Боря, прости!» Борис не оборачивается, бросается в сторону, Яков не может его догнать. Борис исчезает из виду.

Позже узнали: этот сон Якова был в день смерти Бориса. Памяти своего друга Яков написал некролог «Быть живым», опубликованный в журнале «Континент». Некоторые знакомые, согретые любовью Якова к Борису, просили, чтоб Яков писал о них последние слова. Яков уклонился от таких возможностей, догнал Бориса, попросил у него прощения, и писать приходится за него.

Кажется, Борис Вахтин познакомил Якова с Александром Гитовичем, поэтом и переводчиком с китайского и корейского. Гитовича притягивал Восток, индуизм, мистика восточной мудрости, сплав философии и поэзии в звучании стиха. Дача у Гитовича в Комарово была рядом с «будкой» Ахматовой, недалеко от дачи Раисы Берг, известного генетика. Осенью и зимой 1962—1963 годов она предоставила свой дом Якову и Иосифу. Яков жил в первом этаже, Иосиф во втором. И Яков и Иосиф иногда навещали Гитовича, хотя он был намного нас старше. Говорили о поэзии, о переводах, о китайских стихах. Гитович давал читать Иосифу и Якову книги, которые он собирал. С редчайшими книгами «Бхагаватгита», «Махабхарата» Яков познакомился через Гитовича. Позднее он использовал восточный принцип отстранения в своей статье «Как вести себя на допросах». Но ни буддийское отстранение, ни индуистский политеизм, ни исламский мир нетерпимости не привлекали Якова как жизненная философия. Ему были ближе Новый и Ветхий Завет; метафизические горизонты иудаизма и христианства для него были одной книгой. Он считал, что Евангелие развивает идею Ветхого Завета.

Как-то вечером мы с Яковом зашли к Гитовичу. Около дачи стояли в снегу финские сани с навостренными лыжами, которые будто не боялись, что их уведут. Мне захотелось покататься, и только я приблизилась к ним, тут же выбежала собака–колли и вышла жена Гитовича, имя которой я запомнила — Сильва. Мы зашли в дом. Гитович показался мне каким-то трагическим,

опустошенным, лицо испитое, с бороздами страдания. Гитович прочел несколько своих стихов, потом других неофициальных поэтов, и смеющимися глазами поглядывал на меня. Они с Яковом долго говорили о японских и китайских стихах. Звучали танки или хайку .

В тот вечер, возвращаясь на электричке в город, мы встретили на станции Иосифа. Тогда впервые я услышала из его уст фразу: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Фраза относилась к Гитовичу, «довольно милому человеку» — так много позже скажет о нем в интервью Иосиф.

Как-то в «будке» у Ахматовой, как вспоминает Лидия Корнеевна Чуковская, Гитович, увидев, что Иосиф снял нагар со свечи, назвал Иосифа «холуем»: думается, переводчик с китайского позавидовал, что Иосиф приносил для Ахматовой воду и топил печку ей, а не ему. Однако, протрезвев, Гитович перед всеми извинился, и они остались в дружеских отношениях. Гитович оказывал Якову особую симпатию еще и за то, что Яков «не вертится в хоре Анны Андреевны», хотя и называл ее «гордостью русской земли». Любовь, симпатия, ревность. «Нет, я не варвар. Я не посягну на то, что мне пока неясно», — писал Александр Гитович об абстрактных картинах, бросая вызов политическим скандалистам в Манеже.

В той электричке Иосиф с Яковом говорили, как природа одного человека и его творений не кажется низкою, а других — эстетически раздражает. «Есть лица, которые я не переношу.» — сказал Иосиф. Я хоть и не переносила, но сказать так не могла. Конечно, каждый делает выбор: нравится — не нравится, и наше отношение поначалу основано на внешности, а потом уже мы примеряем соответствие внешности и поступков, подлинной сущности и видимости. Иосиф, как никто, доверял своему глазу — «орудию эстетики». Он не обращал внимание на неровное обхождение с ним Гитовича, принимал его как есть, Иосиф его переносил. Одно время они даже готовили к изданию книгу стихов «Зимняя почта»; не знаю, какие стихи входили в ту книгу, потому как книга не появилась в печати.

Как я уже упомянула, Яков и Иосиф жили в Комарово, на даче академика Берга, которой владела и распоряжалась его дочь, генетик и ученый Раиса Берг. На первом этаже дачи, где располагался Яков с банками ацетона, красками, холстами, досками, в один из дней загорелась круглая печка. Яков вызвал пожарных, и они довольно быстро потушили пламя, хотя кое-что и сгорело. Иосифа в этот день наверху не было. На второй этаж пламя шло по трубе от печки, которая сгорела вместе с картинкой «Поклонение волхвов», вдохновившей Иосифа на первые

рождественские стихи. Картины Якова остались целы.

В конце двадцатого века, можно так сказать, про этот пожар я услышала фантастическую версию Евгения Рейна — короля импровизированного рассказа. В Москве, в Доме национальностей, проходила выставка картин Якова. Атмосфера на открытии выставки была официальная, начальник этого заведения говорил казенно–советским языком, приводил какие-то скучные цифры неизвестно чего, заискивал перед Михаилом Пиотровским, директором Эрмитажа, открывавшим выставку. Все чувствовали себя как на заседании обкома или еще чего-то и деревенели. Вдруг появляется Евгений Рейн, открывает рот и громким поставленным голосом начинает импровизировать про абстрактное искусство, как оно возникло в шестидесятые годы в ленинградских подвалах. Как Яков интеллектуально подходил к живописи, к Джексону Поллоку, к. После абстрактного искусства, видимо по аналогии с развалом, Евгений переключается на пожар в Комарово.

В истории Жени про пожар можно было узнать только имена: Яков. Иосиф. Марина… Пожар. Главными в пожаре были тяжелые парчовые занавески, на которых повисла Марина, смуглая леди сонетов Иосифа, выпрыгивая из окна. Иосиф на все «смотрел, дышал молчаливой, холодной природой» и проговаривал стихи:

.О, мой Господь!

Этот воздух загустевший — только плоть душ, оставивших призвание свое, а не новое творение Твое!

Занавески вместе с Мариной раскачивались в ритме стихов. Яков в воздухе махал кистью и создавал картины абстрактного экспрессионизма — пожарники шлангами ему помогали. Дина на кухне смеялась и кричала: «Яков, не относись к себе слишком серьезно — это просто пожар. Горим. И ничего больше.» (Эти слова я говорила на другом пожаре, но не было никакой разницы.)

После фантазирования Евгения на выставке не осталось и следа от официальности. Отсвет пламени Жениного пожара отразился на лицах, публика весело принялась за фуршет, и у меня прошло внутреннее напряжение. И хотя вся история была взята просто с потолка, чистая фантазия, вымысел, но какой эффект расслабления! Результат оправдал метод. Рейн умеет рассказать то, чего не было, с точными подробностями, без всякой запинки, как и Сережа Довлатов. У них схожая вибрация голосов и буйство слов, остроумные детали, хотя Сережа мог быть более злоязычным. И если остроумие и насмешки этих чудодейственных импровизаторов вас не кусают, то можно и посмеяться. Рассказывая «байки», они могут иронизировать и над собой, а вот

в письменных вариантах так не решаются, и в них больше пропусков, то есть пустоты. Устные их новеллы игривые и для меня привлекательнее, чем напечатанные. Делать же из этих рассказов выводы о ком-то или о чем-то, принимать на веру — исключается напрочь. Имена людей они сплошь и рядом используют наудачу, просто так, для цели рассказа и самовосхваления.

В первый год перестройки Евгений Рейн приехал в Америку по приглашению Бродского, выступал с чтением стихов в Нью–Йорке и в других городах и в тот визит жил у моей подруги Г. О. в Нью–Джерси. Он хотел делать документальный фильм о Бродском, кажется, у него даже был с кем-то договор или замысел. После отъезда Евгения в Москву мы с подругой ознакомились с обширным творчеством поэтов и писателей в изгнании, потому как многие из них дарили Евгению свои творенья, а он не мог взять с собой чемоданы подаренных книг и все у нее оставил. Почему не послать по почте? Почему нужно обременять своими стихами, пьесами, рассказами человека, который вырвался первый раз на свободу? Опять же, все по той же причине — «зацикленности на себе». А ты думала, что ленинградская богема шестидесятых уникальна?

В другой приезд в Америку Женя Рейн гостил у нас в Бостоне больше двух недель — вокруг поклонницы, поклонники, даже мне кое-что перепало от его обожательниц: всю посуду перемыли, ни до ни после пребывания Жени в нашем доме рюмки не сверкали таким блеском. Евгений — Женюра, как его называл Иосиф, — в этот приезд был в ударе: рассказы, стихи, байки, полные подноготные всех, кого хочешь. Можно было узнать такие сплетения мифов, каких не прочтешь ни в одной книжной биографии. Фейерверк историй. Гости погружались в фантастические миры выдумок, правд и неправд про него, про знаменитостей и незнаменитостей, про знакомых и незнакомых.

«Ахматовской сироте на висиар» — с такой надписью я повесила конвертик для сбора пожертвований Евгению. «Кварталы уходили в анилин.» — звучал на весь дом гремучий голос Евгения. И сироту не обидели. Сироту уважили. И мы с Женей отправились в негритянский «трифт–шоп» приодеть бедную сиротку. Купили Жене пять хороших пиджаков, дюжину галстуков, семь пар штанов и всяческие мелочи. Только привезли эти роскошества домой, слышу, как Женя сообщает публике: «Это все с плеча Иосифа. Он мне все привез и все мне подарил. Я — его учитель. Я учил его не доверять прилагательным».

Не доверять нужно не только прилагательным.

В тот далекий год, когда случился этот пожар на даче у Раисы

Берг, через несколько дней мы с Яковом зашли к переводчику Ивану Алексеевичу Лихачеву, жившему на улице проф. Попова, удивительно милому человеку. Как переводчик он участвовал в антологии новой английской поэзии Гутнера, вышедшей в 1937 году, сразу всех переводчиков антологии посадили, чтобы они не прославляли иностранных поэтов, и Иван Алексеевич провел восемнадцать лет в лагерях. Ученик его отца Аничков (бывший граф, предкам которого принадлежал Аничков дворец) устроил «Ваничку», так ласково называл он Ивана Алексеевича, в Институт экспериментальной медицины для приработка — переводить статьи, аннотации. Иван Алексеевич знал бесчисленное количество языков и музыку. Коллекция музыки была у него миллионерская, уникальная, изысканная — Гайдн, Бах, Перголези, «Стабат Матер», «Страсти по Матфею». (Под эти баховские «Страсти» у нас происходил обыск, и обысканты, слушая партию Евангелиста, заслушались так, что позабыли прослушать то, что искали, — стихи другого тенора: на обратной стороне пленки Иосиф читал свои стихи.)

Яков любил заходить к Ивану Алексеевичу, они обменивались пластинками, записями, мнениями о музыке; заглядывал и Иосиф, посещавший семинары переводчиков. Иван Алексеевич вел семинары молодых переводчиков при Союзе писателей. «Замечательный был господин! — скажет о нем Иосиф. — Большой, тонкий человек».

В тот вечер, когда мы пришли после пожара, у Ивана Алексеевича был Иосиф и еще какие-то молодые мужчины, они сидели за столом, ели и слушали музыку. Иван Алексеевич готовил салат, который до сих пор его друзья называют «салат имени Ивана Алексеевича». Горячая картошка, постное масло с луком и помидоры.

Мы присоединились. «Честность — это не вкус», — сказал о ком-то Иван Алексеевич, кажется, речь шла о современном композиторе. Затем Иван Алексеевич что-то спросил Якова про пожар — он дружил с Раисой Львовной Берг, она и познакомила Якова с Иваном Алексеевичем. Яков рассказал о реакции Раисы Берг на пожар: «Не расстраивайтесь, Яша, главное, что не сгорели ваши картины, а на дачу наплевать — она застрахована». — «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Делярю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: «Благодарю!»» — отреагировал Иван Алексеевич, восхитившись поведением Раисы. Все засмеялись. Выражали общее одобрение щедрости Раисы и необычности ее реакции. И вдруг Иосиф наперекор всем говорит: «Раиса Берг — вздорная старуха». Он был сумрачный, чем-то раздражен и излучал беспокойство. Иван Алексеевич спокойно возразил

Иосифу, сказав, что Раиса — блистательная женщина, меценат, покупает картины, помогает художникам. «И вы ведь тоже живете у нее на даче». Иван Алексеевич при всем его мягком характере мог быть язвительным и остроумным. Иосиф заторопился, собрал какие-то пластинки и стал откланиваться. Иван Алексеевич, пожимая руку Иосифу, который уже надел кепку, с улыбкой спросил: «Вы считаете, что это дурной вкус — со многими соглашаться?» Иосиф ухмыльнулся, сказал всем «гуд бай» как-то рассеянно и уже без всякого раздражения. После ухода Иосифа Иван Алексеевич с некоторым восхищением сказал: «Немногие в силах сохранять свою независимость. Видно, сперва нужно отрицать, а потом уже и любить, и сострадать».

А какая решительность и независимость нужны, чтобы пойти наперерез обыденному, посредственному. Попробуйте сказать что-то наперекор общепринятому. Ведь как часто бывает неинтересно с людьми — вялотекущие разговоры, входишь в дом, и охватывает неисцелимая скука. Но кто осмелится сказать: «Мне у вас скучно». Так ответил Иосиф на вопрос хозяйки дома: «Почему вы от нас уходите?» Ну и характер! А что считать признаком «дурного характера»? Резкие реакции на фальшь и глупость? Яков считал, что философ имеет право на свой характер — быть несправедливым, проводить собственную оценку. Иосиф был нетерпим к человеческой глупости, к обывательщине и макулатуре, отзывался насмешливо и пренебрежительно о тех, кто не удовлетворял его эстетическому выбору. Иногда выказывал резкие реакции на бессмысленность, мог быть дерзким, не сдерживая своего раздражения. И кто вправе осудить Иосифа? Я только завидую, что не могу так же независимо и свободно идти вразрез обществу. Портреты живых людей могут вообще раздражать ваше чувство красоты. «Человек — не раздражительный — не поэт», — считал Эдгар По. Но, думается, раздражительны все, а поэтов мало. Конечно, определение По — не критерий для поэта, это так, немножко шутка. Поэт — мастер языка, эстет, критик, толкователь мировоззрений.

К независимости способны немногие — этим преимуществом мало кто может похвастать. Сама жизнь вполне достаточно приносит огорчений и опасностей, множащихся, если еще позволить себе быть независимым. Была повесть в «Иностранной литературе» одного египетского писателя, забыла фамилию, по-моему, он даже получил Нобелевскую премию; как-то утром герой повести решил говорить одну правду — что на самом деле он думает о людях, с которыми работает, встречается, живет, и что из этого вышло.

Яков не раздражался на людей, его отношение к людям самых разнообразных занятий и званий было терпеливым, раввинским, библейским. У Яши совсем не было хитрости, игры, одна только твердость знаний и духа. Он редко смеялся над другими, у него было внутреннее, подспудное сочувствие людям — к конечности их существования — эсхатологическое сознание. Он всегда обращался к самому лучшему, высшему, что есть в каждом человеке. В разговорах даже с самыми недалекими людьми у него сохранялась внутренняя симпатия и духовность. Он оставался на удивление спокойным, и даже если ему не нравился собеседник, его лицо ничем этого не выдавало. Почему-то Яков никогда не сомневался, что будет понят собеседником, вернее, он оставался самим собой, говорил о концепциях возвышенного, об имманентно присущей человеку трансцендентности и не сомневался, что так и надо.

Всем приходится сидеть за столом, где мы не совсем у места и испытываем разочарование. Всегда есть общество, которое делает нас «обыденным», принижает, и если Иосиф раздражался, то к Якову будто ничего не приставало. В вечерней компании в Хьюстоне речь зашла о любви. Яков вспоминал строчки из Библии, из «Песни песней», из апостола Павла, что «любовь не требует, не просит.» Одна дама вдохновенно произнесла: «Яша, я тебя поняла: не ходи по избам — не перди в окно». Яков с невозмутимым видом продолжил: «Да, это один из аспектов любви — не надоедать». Будучи сам аскетически целомудрен, он мог восхищаться жизненным ритмом своих донжуанистых друзей. «Господи, какой бабник!» — восклицали мы. «Просто ему нравится женщина как таковая», — отвечал Яков. И если мы с подружками говорили про какую-нибудь женщину: «Она такая страшная», то Яша нас осаживал: «Самое большее, что вы можете сказать о ней, — своеобразная. Посмотрите на себя».

Еще в самом начале нашего знакомства я сообщила Якову, надеясь его удивить, одну поразившую меня тайну о главном геологе нашей экспедиции, изменяющем жене с одной из наших приятельниц, но не я его удивила, а он меня, когда жестко спросил: «Тебя что, просили мне это передать?» После этого удивления я его уже не баловала никакими пикантными историями.

Яков совсем не одобрил поэму Евгения Рейна «Глаз и Треугольник», описывающую личную драму Иосифа Бродского, и прямо сказал об этом Жене, читавшем ее где-то в кругу приятелей и друзей, считая, что нельзя так втискиваться в чужую жизнь. Ведь Рейн и сам пережил нечто подобное, но Женя и ухом не повел на Яшино неприятие «дружеской» поэмы: «Яков —

моралист». Надо сказать, что Иосиф был рассержен и раздражен Жениным поведением и почти с ним не общался, Рейн уже давно жил в Москве. Но потом в Америке Иосиф расслабился, вспоминал Женюру, посвятил ему стихи, простил, пригласил. Не держал зла. Его прощение относилось не только к Рейну, но и к Дмитрию Бобышеву. Иосиф позвонил Дмитрию сразу по приезде Димы в Америку и предложил свою помощь. Этот факт, это предложение Иосифа тронуло тогда меня и Якова, но Дима Бобышев, к сожалению и большому моему огорчению, начисто об этом забыл и свои неудачи сваливал на то, что Иосиф ему якобы мешает. Не только Дмитрий, но и другие мемуаристы всё пытаются высветить неприязнь Бродского к Бобышеву, которая за давностью лет у Иосифа прошла, по крайней мере на поведенческом уровне. Иосиф знал, что Яков дружил с Димой, и это никак не отразилось на их отношениях. Свои мелкости мемуаристы переносят на других. Иосиф воспринял от Ахматовой идею прощения и не раз говорил об этом в своих интервью.

Теперь уже мои размышления: что прощать и кому? И как относиться к предательству любимых? Наверное, Яков и Иосиф могли прощать на каком-то абстрактном уровне. Мне же кажется, что в прощении есть невероятная гордыня — снисхождение, повелевание, к этим аристократическим качествам у меня амбивалентное отношение. Якову я иногда говорила: не бери на себя функцию Бога, прощение — это привилегия Бога. «Ты не знаешь, что тебе простили.» И на самом деле я не знаю, что мне простили и что не простили, и никто не знает. Каждый для себя выбирает сам, что прощать, а что нет. Про себя я могу сказать, что есть такие поступки в поведении людей, которые я не прощаю. Я не могу сказать, что мне кого-то жалко в той или иной ситуации, — жизнь конечна для всех людей. И я не хочу, чтобы меня кто-то жалел, кроме Всевышнего, потому что от человеческой жалости мне становится еще тошнее. И поэтому я не могу себе позволить жалеть других. Для меня в жалости есть какая-то снисходительность, а собственно, сам-то ты кто — бессмертный? Наверное, отдельные люди упрекнут меня в равнодушии, припишут мне черствость, бездушие, но теперь «я как живу, так и пишу, — свободно и свободно», говоря словами Грибоедова.

А как Яков всегда старался найти что-нибудь необыкновенное в творениях своих друзей, которые не всегда отличались особой глубиной. Эта часто неоправданная щедрость меня иногда злила, на что он возражал: «Напиши лучше!» Конечно, это не значит, что Яков не видел, что собой представляет тот или иной человек, и оценки Яковом человеческих поступков были далеки от идеализации. Иногда он предупреждал меня не строить иллюзий

о дружеском ко мне отношении некоторых моих подруг, не пытаться всех собирать вместе, не надувать шары, которые не могут летать. Однако фоном его критики всегда оставалось уважение к личности. Сверхиндивидуалистское чувство ответственности. Он всегда был готов помочь, организовать, устроить, похвалить.

Иосиф в Америке тоже кое–кого нахваливал, в том числе и меня. Временами он хотел поддержать поэтическое здание, объединить — все зависит одно от другого, вложить свои мысли, чтоб только писали, чтоб только прославляли русский язык. Иосиф ощущал себя дающим, раздавал эпитеты, чтоб авторы до них росли, вдохновлялись. И непонятно, по долгу дружбы или из уважения к предмету описания. Действительно ли высоко ценил своих коллег или из ностальгических привязанностей? Потому что он мог резко высказываться о никчемности современных произведений: «просто нечего читать», «макулатура.». И сожалел, что ни у кого из современников нет «неповторимого индивидуального ритма». Однако пусть пишут. Когда же наш приятель Дмитрий Ратушевский перевел его стишок на английский, то Иосиф не пришел в восторг: «Митя, ваш переводик — так себе».

Какие же нужны силы, чтобы преодолеть (или подавить) в себе инстинкт самосохранения? Что ведет к позиции социального дискомфорта, к нежеланию быть «как все»? Как теперь я понимаю, Иосиф бежит от судьбы в очарование языка, который его захватывает и околдовывает своими возможностями. Язык открывает ему другую реальность Через него Иосиф приближается к Высшему смыслу, к Истине. И язык, почувствовав власть над Иосифом, дает ему силы и уводит его далеко–далеко от обыденной действительности — к ее непринятию.

Я долго оставалась во власти общих концепций (сейчас уже больше себе позволяю) и если изредка прорывалась к каким-то свободным проявлениям своего внутреннего голоса, то эти порывы были малозаметными и неосознанными — в сравнении с такими людьми, как Иосиф, Яков, о. Александр Мень. Одним из первых моих свободных поступков быть «не как все», более или менее независимой от общепринятого мнения, было выступление против моих подружек на первом курсе. Мы были на летней практике в Саблино; парни жили за тонкой стенкой, включали музыку и в такт музыке выкрикивали неприличные слова, как в теперешней музыке рэп. И девчонки решили написать письмо в ректорат с жалобой на наших парней — за то, что те нецензурно выражаются. Сколько мне стоило выдержать от моих подружек высокомерного презрения, когда я настаивала — не писать. «Ты

— сама такая же. Как ты можешь. Тебе нравится это слушать.» Я сражалась с ними — их было восемь — целый вечер. И я немножко горжусь, что каким-то чудом мне удалось уговорить их написать ироничные частушки на парней, а не донос в ректорат. Потом часть из девчонок и парней переженилась, одна пара моих друзей с тех самых пор живет в счастливом браке. Хотя я жила и плыла по течению вместе с большинством, и инстинкт самосохранения держал меня в общем потоке, но я все же почувствовала тогда, что человек может быть и против, утверждаться в независимости, что вне меня есть что-то, что дает мне силы. Позже я прочла у Юнга, что, для того чтобы отделиться от массовости, человеку нужна точка опоры, находящаяся вне окружающего его мира.

Если ты бескомпромиссный, не плывешь в общем потоке, а создаешь свой собственный мир, то становишься инородным телом и тебя выталкивает из него. Просто по закону Архимеда. Ты отвергаешь правила, а общество отвергает тебя. Совсем необязательно человек попадает в беду из-за политических игр и убеждений. Нередко просто из-за того, что он другой — психологически выше остальных. Превосходство другого может ущемлять. Человек, который открыто выбирает свободу, позволяет себе то, что не принято, даже не посягая ни на какие устои, в любом человеческом обществе не встречает восторга. Почему все должны, ненавидя, изучать марксизм–ленинизм, а кто-то не хочет? Почему все говорят и пишут, используя общепринятые словоупотребления, со всеми советскими сцеплениями, а кто-то один выказывает свое языковое превосходство? Почему все приспосабливаются к социалистическому реализму, а кто-то бросает ему вызов? Естественно, что на таком фоне ущемленности и завистливости поэт, написавший «душа за время жизни приобретает смертные черты», оказывается отщепенцем.

Яков и Борис Вахтин присутствовали на суде над Иосифом. После суда Борис и Яков обсуждали и пересказывали ответы Иосифа, как он держался, как и что. И Яков и Борис были поражены поведением Иосифа, ответами, собранностью и достоинством. Борис Борисович был приятно удивлен, что Иосиф не выказывал никакого раздражения, ни озлобления, а вел себя нейтрально, почти отстраненно. Больше всего Борис был зол на Союз писателей, который не защитил поэта от нападок хамов и необразованных людей, что они не выступили с заявлением, что труд литератора — тяжелый труд.

Мы с подружкой во время первого суда стояли на лестнице. Тут я словно вошла в тот кафкианский мир, о котором только что

прочла. Начиталась! Все происходящее окрасилось прочитанным — и мир вокруг показался оледенелым и жутким. Это было не просто столкновение с несправедливостью, которое происходит на каждом шагу, это был взгляд в пустоту, «в ней как в Аду, но более херово». Тебя просто нет, ты — ноль. От тебя, себя ты не зависим. Я ощутила социум как безумие — не просто советская власть, нет, а — общество и ты. С тех самых пор во мне всегда присутствует капля ужаса при встрече с любой, самой обыкновенной бюрократической системой, будь то таможня, оформление документов, ситуации, когда ты впрямую зависишь от социума. Вернее, имеешь дело с человеком, который в этот момент не человек, а выразитель всего к тебе человеческого отношения. Яков говорил мне, чтобы я не обращала внимания, не замечала, не тратила своих эмоций на исправления, замечания, относилась к социальным встречам как к природе. И в природе есть противоречия, а я ее часть.

Прошло буквально несколько дней после суда над Иосифом, как мы с подружкой зашли в комитет комсомола Дзержинского района, ей надо было что-то комсомольское сделать, то ли поменять билет, то ли уйти из этой организации. В предбаннике комитета была большая витрина с фотографиями разных районных комсомольских дел, в том числе большой стенд из фотографий суда над Бродским, под каким-то шаблонным названием: «Они мешают нам жить», «Дела дружинников» или «Отпор.» не знаю кому. Мы заинтересовались и принялись рассматривать фотографии, но комсомольцы, видя наш интерес к этому событию, попросили покинуть помещение и прервали наше разглядывание. Я даже не успела среди публики найти Якова или Вахтина. Конечно, эти снимки сейчас есть где-то в архивах, и будут опубликованы, если уже не опубликованы, и можно будет распознать, кто есть кто, и кто судьи, и кто жертвы. Но я их больше не видела. Потом фотографии истлеют, люди на них унесутся временем и никто не будет знать: кто это такие, комсомольцы? чем они занимались? И эти красивые и некрасивые игры людей будут иметь, в сущности, очень малое отношение к искусству. И после всех ухищрений, постановлений, судов, ссылок, статей, злобы, ненависти, зависти останутся только стихи, которые пройдут через другой суд — суд искусства, куда более строгий.

В год, когда я вышла замуж за Якова Виньковецкого, Иосиф вернулся из деревенской ссылки. Вот такие у меня исчисления! Я ощущала свое замужество как бесценный подарок судьбы, и все было «так похоже. на блаженство». И вслед за Александром Сергеевичем повторяю: что «страдание — хорошая школа, а

счастье — самый лучший университет». Мы приобрели трехкомнатную кооперативную квартиру на Гражданке, которую украшала не мебель — ее практически не было, а звуки слов, мыслей, музыка, картины Якова и красавицы. В доме начался людской прибой из серьезной и несерьезной богемы, из знаменитых и не столь знаменитых людей. Моя жизненная избыточность переходила в открытость каждому новому человеку, мне хотелось разделить свою радость со всем миром, раскрыться всему, просто быть, наслаждаться, отдаться дружбе, посиделкам. Я любила гостей и даже, думается, стала жертвой своего гостеприимства. Казалось, что «трагическое переживание жизни» мне не свойственно, раз не ною, глубокомысленно не рассуждаю, словно ничего не замечаю, а только наслаждаюсь своим счастьем. Я могла болтать о чем угодно, обсуждать романы и увлечения, смеяться, конечно, на фоне восхищения глубиной мысли Якова, которая давала мне силы радоваться. До этого времени мои мысли и душа были больше заняты: «любит — не любит», теперь можно было чуть успокоиться и углубляться в другие темы. Яков мог жить только духовно, и планка бесед при нем почти всегда поднималась до самых последних вопросов. Его глубокая, таинственная серьезность распространялась на все происходящее. В его присутствии все согласовывалось с лучшими сторонами каждого человека. И люди приходили побыть между серьезностью Якова и моей веселой игрой. «В ваш дом набьется рать жрецов искусства.»

Со стаканами принесенного вина решались все мировые проблемы, будущее планеты. Велись диалоги об искусстве, свободе воли. Выпивали, знакомились, спорили, дружили, вели метафизические разговоры, обсуждали новости, увлекались какой-то книгой, читали стихи, запрещенную литературу. Остроумные парирования, добродушные веселые рапирные уколы в слабые места спорщиков, иногда смешили умничанья некоторых «искусствоведок», которые напыщенно и нелепо высказывались об искусстве. Некоторые подружки улетали в мистически–оккультные игры, магию, астрологию, но этот астрологический реквизит был чужд нашей квартире. Приезжали из Москвы поэты, сравнивали петербургскую и московскую поэзию, живопись. Круг близких людей менялся. «Как стремительна жизнь в черно–белом раю новостроек».

Голландский друг Иосифа Кейс Верхейл напишет: «В полувоенной обстановке той поры в «полутора комнатах», во множествах других комнат и кухонь я познал дружбу столь высокой пробы, какую вне России встречал крайне редко. Настоящую, конкретную, полную риска». Всех связывал высокий

пафос мысли и вместе с тем глубокое ощущение зла, протест против ложных ценностей советской власти, которая для нас существовала как объект насмешки и иронии. Ни у кого не было поползновений открыто бороться с режимом, выступали только против предрассудков. Подозрения: кто агент вездесущей организации? — часто раздражали. Яков терпеть не мог обвинений людей в сотрудничестве и не позволял расходиться на эту тему. Наш общий враг был вездесущим, и нечего разыскивать его и омрачать отношения. «Мало ли кто кому не нравится — это не значит, что он провокатор. Одна из функций власти вносить беспорядок и разобщение, — говорил Яков, — и делать так, чтобы все боялись друг друга». Запомнилось, как в Москве режиссер Евгений Шифферс высказался по этому же поводу: «Ну, что вы все смотрите: где микрофоны? Кто агент? Вызовут вас куда надо, поставят бутылку, бабу — и вы расскажете всё, что от вас хотят услышать». Мы все только люди.

Если нельзя ничего изменить в системе, то единение и духовное пробуждение помогают ее переносить. Во всей обстановке был какой-то романтический туман, некий привлекательный хаос. Все это создавало элитарную атмосферу, похожую на Ренессанс.

Мир нашей квартиры был для меня и, наверно, для других как оазис отстранения, отдохновения. Может быть, потому, что вся трагедия была общая, не личная, хоровая, эта хоровитость затуманивала настоящий внутренний конфликт каждого?

И где взять красок и таланта, чтобы показать, что несмотря на нехватку денег, советскую власть со всеми ее следствиями и выкрутасами, со всем жлобством, нам временами было так насыщенно и глубоко, был объединяющий, вдохновляющий дух. «То, что здесь происходит, и есть дух нашего времени», — говорил Яков.

Хотя слова Якова, что происходящее уникально, что не будет лучше, чем здесь и сейчас, останавливали мое внимание, но задним числом, с сегодняшних позиций, я вижу, что находилась в противоречии «между мгновением и вечностью». С одной стороны, мне хотелось, чтобы так продолжалось, а с другой — я не хотела «останавливать мгновенья».

Остановись мгновенье, ты прекрасно.
Меж нами дьявол бродит ежечасно
И постоянно этой фразы ждет.

Я гляжу на отдельные снимки нашего застолья. Можно написать по целой монографии о некоторых друзьях–приятелях; как уже говорилось, каждый из них имеет право на отдельную книгу. Я же вспоминаю только маленькие ключевые фрагменты, и то в самом общем виде, пишу фрагментарное повествование со случайными воскресающими эпизодами. Не перескажешь всего, не проследишь многих отношений. Были и долгие и значительные дружбы, обворожительные встречи, случайные знакомства и разочаровывающие, короткие и бесплодные отношения. Бесконечный калейдоскоп.

Один Хвост — Алексей Хвостенко — с гитарой «над небом голубым» займет публику на целую неделю. Про режиссера, художника, мистификатора Игоря Димента я уже написала целое повествование. Что касается Иосифа Бродского, то тут без меня столько понаписано, что «я знал Иосифа» — стало профессией и почти банальностью. «Таков аппетит и вкус времени». И невозможно представить, сколько томов может занять описание метафизических горизонтов, встреч, бесед, разговоров между Яковом и любимым им человеком мысли — Анри Волохонским. Яркий, острый, поэт, ученый, книжник, философ, человек Возрождения, Анри Волохонский был для Якова незаменимым другом и собеседником — от стихов до занебесья. От каббалы до научных изысканий. Они с Яковом вели такие изысканные диалоги, что вставить слово в их беседу никто не осмеливался. Гераклит и Парменид. Один говорит: «все течет», другой: «все истинно сущее неизменно». Декарт и Лейбниц. Отраженный блеск их бесед сохранился в целом томе их переписки, статей, поэм. Иногда разговоры затягивались до утра. Анри Волохонского тогда уже потянуло на чистый эксперимент и поиск «формы»; кажется, он потом совсем ушел в эскапизм, «в заумь».

Еще одно эстетическое наслаждение доставляли разговоры между Яковом и моим странным двоюродным братом — философом Витом Навроцким. Он был лицом как двойник Николая Васильевича Гоголя, с таким же носом и выражением, закрытый, с сарказмом, ерничаньем, почти на все реагирующий с мрачноватой иронией. Персонаж из хаоса. В беседах Вит уходил в метафизическую даль, входил в нули, в бесконечности, забирался в натуральный ряд с распределением простых чисел и парил в какой-то параллельной Вселенной. Непредсказуемость ходов его мысли, его сардонического ума, часто построенных на абсурде, поражала. Он вел подкопы под все как бы известные истины, и до сути Витовских рассуждений тщетно было доискиваться, он всегда ускользал в потусторонние абстрактные рассуждения, именно в параллельную Вселенную.

Вит был моим первым «воспитателем»: у него я училась отрываться от стандартных оценок, он так невзначай показывал, что общепринятые точки зрения не совпадают с реальным положением вещей. Даже школьные задачи объяснял мне задом наперед: «Не по реке идет пароход, а река тянет пароход. Потому что вода главная». Я даже думаю, что он был автором отдельных народных анекдотов, построенных на абсурде. Так что я знаю одного человека, который «сочинял» анекдоты. Вит «абстрактный, схоластический мыслитель» — так считал Яков. Вит всегда писал и пишет потусторонние философские трактаты. Хорошо бы их издать. Может, кому-то они доставят эстетическое наслаждение. И что тут скажешь? Всего не повторить и не запомнить.

Многолетний друг Якова, блестящий художник, красавец Михаил Кулаков, который после очередного развода подолгу жил у нас, разве не заслужил романа? Умный, дерзкий в своей образности, выходящий за грани реальной живописи, за грани красок, композиций, принадлежащий необузданности линий. Его увлекали дзен–буддизм, японская живопись, каллиграфия, женщины и йога. Между собой Яков и Кулаков вели долгие споры о живописи, сути и сущности вещей, смысле творчества. Есть тома их переписки, и они требуют публикации. Как сейчас вижу: Миша перед очередной своей почитательницей показывает приемы джиу–джитсу, всяческие экзотические па, издавая странные первозданные звуки, и мы с сестрой почти умираем от хохота. На женщин его пронизывающий взгляд и манипуляции действовали неотразимо. Поклонницы у Кулакова не переводились ни днем, ни ночью. Миша писал портреты с мистической проникновенностью, быстро, смело — модели и зрители немели. Тайны сбегали с портретов. «Он раскрыл мою тайну, посмотри — мои глаза полны слез. А мне казалось, что никто не видит моих страданий», — в сердцах сказала моя подруга актриса О. А. «Я чувствую себя так, будто Рихтер на мне сыграл концерт!» — в изнеможении произнес Борис Вахтин, выйдя из комнаты, где Кулаков два часа колдовал над его портретом. А портрет Володи Марамзина?! Дионисийский характер в безразличных губах. Кулаков много рисовал Якова — на одном из портретов Яков изнутри пронизан трагическим ощущением, будто пришелец из другого мира. Портрет хитрого Горбовского — шедевр: в одном глазу просто темная бездна бутылки, а другой — открыт. Двойственность, амбивалентность. Про мой портрет работы Кулакова я хочу написать отдельное эссе, этому портрету я обязана и неприятными и счастливыми мгновениями и отстраненными размышлениями, как человек (в данном случае я) реагирует на свой облик, отраженный другими.

И как совершенно не совпадает твое представление о себе с твоим изображением, и на триста пятьдесят девять градусов с тем, что про тебя думают окружающие, в первую очередь твои друзья. Может, один градус все-таки совпадает?

Мои дальнейшие жизненные приобретения показывают, что часто нет даже градуса совпадений, и я не буду настаивать ни на одном. Хотя многие возражают: «Ну это про тебя, понятно, а про меня никто ничего скверного сказать не может». А почитайте-ка письма своих друзей о вас третьему лицу! А послушайте разговоры о вас из-за занавески! Надо ли говорить, что вы узнаете о себе массу неожиданного.

Вот у нас появляется еще один художник — Игорь Тюльпанов, его привела к нам Эра Коробова. Изысканный, утонченный, кажется, человек эпохи Ренессанса, во всяком случае точно не из наших двух веков. Рядом с ним и его картинами реальность кажется такой несовершенной, что невольно сожалеешь, что ушли времена расцвета искусства живописи (а были ли они?), что уже нет графов–меценатов, что повывелись ценители тонкого искусства — нет уважения к мелочам, которые окружают нас, заставляя думать о бесконечности. Его картины — пафос микрокосмоса. «Всесильный Бог деталей.» Всматриваясь в его картины, я часто думаю, что они изображают реальность, находящуюся за кажущейся действительностью. И из льющегося малахита извлекается смысл. Те, кто видел иллюстрации Игоря Тюльпанова, оформившего мою книжечку «Илюшины разговоры», могут понять, как мне было лестно, что он согласился это сделать, причем бесплатно — денег не было ни у него, ни у нас. (Он только появился в Америке.) И как он это сделал! А мой портрет работы Тюльпанова опять же — проникновение за кажущуюся действительность… «Всесильный Бог любви».

Многие тайны остались неразгаданными и ушли от нашего суда вместе с их обладателями. Там, в этих четырехстенных пространствах, среди полупустых комнат жизнь наполнялась сама собой.

Я не буду останавливаться на философских и литературных привязанностях, обсуждениях, восхищениях, интересах, скажу только, что мы «впитали христианское сознание с молоком русской культуры, в ее языке». Как вся неофициальная культура была антитезисом официальной, так и обращение в православие некоторых наших друзей, в самом общем виде, было тоже формой оппозиции. Для большинства интерес к христианству был скорее эстетического, а не религиозного порядка, и в нем было мало конфессионального. Всю романтическую традицию соотносили с личностью Иисуса. Иконы с расширяющимися нимбами.

Литература. Живопись. Стихи: «Рождественская звезда» Пастернака, рождественские стихи Иосифа. Кулаков вместе с Яковом проводил часы в Эрмитаже. Для Якова христианство шло из глубины мыслей. Он считал, что еврей, обратившийся в христианство в России нашего времени, не изменяет иудаизму: «Мы были выброшены нашими дедами и отцами в духовный вакуум безрелигиозного миросозерцания и изрядно проварились в его горниле, демонстрируя миру противоестественное лицо еврейского атеизма. Христианство не отказ от еврейства, но единственное адекватное и достойное великой истории и великого народа его восприятие (восприятие не в узкопсихологическом, но буквальном, физиологическом и сакральном смысле)». Яков не мог уместиться в рамках любой конфессии, его манил духовный потенциал человека, будь то научные открытия, концепции, поэзия, живопись. Он хотел видеть всплески человеческого максимума, в чем бы они ни проявлялись; хотел видеть связь религии и науки. (Позднее Яков обменяется письмами с владыкой Шаховским, тоже интересующимся этими вопросами.)

Незримый подпольный центр русской культуры вдруг рассыпается — уезжаем на Запад. Обыск и обострение судьбы — из Агадырской экспедиции, где работал Яков, всех геологов, и плохих и хороших, перевели во ВСЕГЕИ, Всесоюзный геологический институт, а блистательного геолога Якова Виньковецкого не взяли. Одной из причин невзятия, помимо общечеловеческой зависти, была заинтересованность Комитетом государственной безопасности стихами Иосифа, которые они пытались отыскать в нашем доме и на работе, — этим интересом они перепугали геологическое начальство, которое решило держаться подальше от стихов.

«Яша, не уезжай!» — с такими словами приехал из Москвы друг Якова — поэт Геннадий Айги. Друзья уговаривали отказаться от отъезда, сердились. «Яков, ты должен оставаться здесь, твое влияние, твоя миссионерская натура нужны тут», — настаивал Борис Вахтин. После вечера у Игоря и Марины Ефимовых с одним из известных американских профессоров–славистов, как только мы втроем вышли на улицу, Борис сказал: «Яша, и ты хочешь жить среди таких людей? Купят — не купят. Учти — это еще лучшее, что там есть. Там все искусство, литература, живопись подчиняются стандартам общества, а не поставляют обществу свои стандарты. И вообще, там даже у самых образованных людей большая задержка в развитии. Тебе не с кем будет там говорить о большом и настоящем».

Я часто вспоминаю эту пугающую трезвость Бориса

Борисовича Вахтина. Мы не предполагали, что ценности рассматриваются исключительно в свете их продаваемости, что твои изыскания никому не нужны и никто не купит ни твоих книг, ни твоих картин, если там нет пикантностей, чернухи, отбросов. До какой степени искусство зависит от финансов, нам не могло присниться ни в одном сне. И как часто только посредством скандала можно заявить о себе. Может быть, несчастье оказывается более благоприятным для открытия в себе стремлений к возвышенному? Такой парадокс: окружающая действительность избавляет тебя от серьезного к ней отношения и ты чувствуешь себя поэтом. Но я не буду развивать эту мысль.

Романтические иллюзии разбились о реальность. Мы увидели, какой цвет у свободы. «Ведь нет ничего хуже для человеческого сознания замены метафизических категорий категориями прагматическими.» И сколько стоит эта наука разочарования? Мы заплатили дорого за свою недооценку негативного человеческого потенциала. А что нужно иметь или не иметь в душе, чтобы ясно видеть то, что существует? Неужели это были мы? Мы — тут, наверное, приходится сказать: я — чувствовали, что вряд ли на Западе у нас образуется общество, «где будут все наши». И теперь я знаю точно: не образовалось. География, политика, работа, зависть разделили и рассыпали единения. Местоимение «мы» распалось на множество «я». «Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает».

Все жили в одном из красивейших городов, помимо родного языка и советского опыта каким-то мистическим образом нас объединял и этот город «с его декорациями, лучшими в мире». Фактура и меланхолия нашего города облагораживала нас. Тогда у меня еще не было подозрения, что все мы друг другу чужие, — это пришло позже. Братства не получается.

«Индивидуальность, неповторимость, особенность каждой человеческой души, опыт каждого человека делают этот реальный психологический мир (единственный мир, непосредственно доступный человеку) каждого из нас абсолютно замкнутым, непроницаемым для другого я» — так напишет Яков в своем эссе о живописи. «В сущности, никто — никому — не нужен» — так неожиданно для меня определит Яков отношения между людьми уже в Америке. Это было сказано им после того, как наши ленинградские друзья, которых Яков любил и высоко ставил, не приехали навестить нас, работая не так далеко от нашего вирджинского поселения. В Америке метафизических воссоединений не произошло. И у Якова при его блистательном английском не завелось достойных собеседников среди новых соотечественников, а старых всех раскидало. После бурной

имперской интеллектуальной жизни мы оказались в провинции, «среди ковбоев», и это было непросто. Была тоска по общению с внутренне близкими людьми. Глубокая острая мысль Якова оставалась на холостом ходу.

«Жизнь сложна. Затем она лишь и нужна, чтоб праздновать в ней день рожденья».

Один из дней рождения Иосифа, который он праздновал в своей квартире в мавританском доме Мурузи, я хорошо запомнила. Как известно, в том доме, похожем на торт, много чего происходило: жили Мережковские, Ахматова последний раз в этом доме видела Гумилева. А я первый раз шла к Бродскому на день рождения.

Идем с Яковом по знакомому Литейному проспекту в нужном нам направлении, прошли Дом офицеров, «обителью, где царствовал сквозняк, качался офицерский особняк». И вдруг видим самого раскачивающегося поэта Иосифа с сигаретой в руках — он прогуливается вдоль стены своего дома. «Раскачивался тенью на стене.» (как раз у той стены, где сейчас висит его мемориальная доска).

— Что ты тут стоишь? — спросил его Яков. А у меня мелькнула мысль: «еще одна оригинальность «наших» — приглашать в дом, а самим уходить».

— Вы идите в дом, — говорит Иосиф, — я жду людей. Из Москвы должны приехать люди, они не знают, где в Питере входы и выходы.

— Ну что ж, — засмеялась я, — будем веселиться без героя.

И мы вошли в комнату с громадными потолками и пилястрами, заполненную людьми, сидящими за столом; показалось, что приглашенные уже давно празднуют день рождения героя, не замечая его отсутствия. Общее впечатление было праздничным, стоял шум, мы втиснулись на поставленную на две табуретки доску. Не успели мы как следует пристроиться, как появился герой вместе с людьми, пришлось потесниться и усадить московских людей тоже на самодельную скамейку. Иосиф прошел на свое место в центре стола у окна. Среди общей болтовни слышно: «Вася Аксенов.» Я удивилась, когда узнала, что «людьми», которых ждал Иосиф, оказались Вася Аксенов с женой Майей. Аксенов был в зените славы, гости сразу переглянулись, когда его узнали.

У Иосифа я не заметила никакого придыхания, ни грамма предпочтения, ни пристрастия, ни замешательства, ни мельтешения. «Жду людей» — это запомнилось навсегда как урок собственного достоинства. Этот крохотный эпизод врезался тогда мне в память, потому что внешний успех других людей не трогал

ни Якова, ни Иосифа так, как многих других. Каждый из них преклонялся только перед Высшим.

Я не помню, во что была одета (Кузьминский, улыбнись!), но запомнила, что Люда Штерн была в изумительной разлетающей тонкой накидке, время от времени она ее руками приподнимала, будто хотела взлететь, и Аксенов надолго запомнил взмах Людочкиных крыльев. Мать Иосифа М. М. сидела рядом со мной, не суетилась, не бегала взад и вперед, а была преисполнена спокойного величия. Она одобрительно слушала, как я с Майей, женой Аксенова, обсуждала красавиц. Все, как известно, реагируют на внешность, в этом нет ничего оригинального, кроме того, что все видят разное. И если одному лицо кажется красивым, то другой совершенно не обязательно с этим согласится. За столом сидело множество красавиц, только будто не разные красавицы, а одна и та же — Сара Леандер? Не знаю, напоминал ли кто-нибудь из присутствующих ее, но, по словам Иосифа, она была для него идеалом женской красоты. Совпадают ли идеалы с возлюбленными? Во всяком случае Иосифу его «романтическая карьера представляется наиболее удовлетворительной».

Первое место мы отдали подружке Кости Азадовского, я не помню, как ее звали (недавно вспоминали с Костей тот день рождения, и он ее имени тоже не помнит). «Ради таких красавиц мужчины теряют головы», — оживленно сказала М. М. «И ради таких мужчин, как Иосиф, Костя, Яков, некоторые женщины теряли тоже», — подумала я. Свою я давно потеряла. И вот, сидя с потерянной головой, я ела и смотрела на людей и стол, и мне казалось, стол был заставлен множеством салатов и угощений — тогда умудрялись делать еду из ничего, и М. М. была не последняя среди таких волшебниц, устроив своему сыну праздник из ничего, а точнее, из любви. Но почему-то нет фотографий застолья, по крайней мере я не встречала.

После всех тостов за здоровье, самых что ни на есть обычных, никто ничего не говорил выдающегося: ни про время, ни про метафизические стихи, ни про будущую Нобелевскую премию. Все напускали на себя загадочность, молчали, ели, пили. Кто-то предложил спеть «Лили Марлен» в переводе Иосифа:

Есть ли что банальней смерти на войне
и сентиментальней встречи при луне,
есть ли что круглей твоих колен,
колен твоих, их либе дих,
тебя, Лили Марлен, моя Лили Марлен,

— понеслось под пятиметровый потолок. Пенье без музыки. Пели кто во что горазд, одну и ту же ноту не выводили, хотя Иосиф и постукивал ладонью по столу, пытаясь как-то дирижировать. Лучше всех пел Яков, или так мне казалось, у него был глубоко окрашенный голос и чувствительное ухо. Пишу с пристрастием.

Кого я запомнила из гостей? Нельзя было не заметить Геннадия Шмакова, который громче всех говорил. Я его видела первый раз. Он показался мне высокомерным и напыщенным, человеком абсолютных мнений и снобом. У него тогда была жена, красавица Марина. Я понятия не имела, что он — «трехмерных пространств нарушитель», что у него есть особые склонности. В тот день где-то в подсознании я только отметила, что его жена Марина слишком снисходительно относится к своему мужу и все больше восхищается моим; конечно, эти наблюдения можно списать на мою ревность. Интенсивность воображения затмевает реальность. Но все-таки так оно и было, хотя об этом можно спросить саму Марину.

Впоследствии я с Геной познакомилась ближе, стала ценить его широту и бескорыстие, суперобразованность. И еще: ему нравился мой смех и моя книжечка про разговоры Илюши. Его слова из письма ко мне — «редко встретишь юмор у русского человека.» и «твой смех и насмешки переживут настоящее» — доставляют мне приятные минуты. Я люблю перечитывать некоторые письма. «В вашей радости открывается ваше страдание». Он был не только виртуозом безостановочного речитатива, но и виртуозом кулинарии. Если кто попробовал его взбитую рыбу, тот никогда, ни до ни после, не мог сказать, что ел где-либо что-либо подобное. По крайней мере мне не приходилось, и жаль, что уже больше не отведать кушаний Гены Шмакова и не услышать его снобистско- эллиннских комментариев по разным поводам.

Кушнер выглядел под стать мне, не скажешь, что видный. Показалось, что в нем нет ни уверенности, ни мужественности. Якову нравились его стихи, они вместе ходили в литобъединение, которое вел Глеб Семенов, и у нас в архиве есть от руки написанные Сашей стихи, рассказы, записи. «Что делать с первым впечатленьем? Оно смущает и томит. Оно граничит с удивленьем. И ни о чем не говорит», — читал Яков строчки Кушнера. И я ничего не могу поделать с первым впечатленьем.

Миша Мейлах, изысканный, утонченный, несколько надломленный. Такой профессорский сын. Интеллектуал. Знаток обэриутов и провансальских трубадуров. Кулаков нарисовал его портрет и назвал «Гамлет». Как всегда, кулаковский портрет —

это проникновение в глубину. Я какое-то время мечтала женить Мишу на своей сестре, но ни он, ни моя сестра об этом не знали. И ему пришлось стоять на голове и концентрировать внимание на игольном ушке, не подозревая о моих намерениях. Якова Гордина тогда не я заметила, а он меня — по хохоту, и с того дня рождения Иосифа он стал думать, что я самый что ни на есть веселый человек в Петербурге. Наверное, про себя подумал: дурочка, но не сказал.

Гарик Восков, мягкий, доброжелательный человек, с задумчивым и вдохновенным лицом обменивался с Яковом какими-то монашескими рукописями и мнениями о христианстве.

Константин Азадовский с одной из своих дам были неотразимы. Высокий, с картинно величавой осанкой. Манера разговаривать мягкая, но убедительная.

Самая изысканная толпа, когда людей много, становится скучной. Никто не знает что говорить, чтобы не показаться глупее другого, обмениваются вымученными репликами, и под поверхностью разговора часто улавливается некое соперничество. Каждый индивидуален, если не сказать эгоцентричен. Открещиваясь от коллективной идеологии, впадаешь в другую крайность.

«Встреча творческой молодежи» — так назывался вечер в Союзе писателей в январе 1968–го, который совпал с днем рождения Якова. Для того чтобы эта «встреча» прошла, была пущена в ход масса ухищрений, вовлекались все более или менее приличные силы и связи. Борис Вахтин был одним из главных — у него были не только влиятельные знакомства, как я уже писала, но и фантастическое обаяние, которое действовало даже на сверхпартийных женщин. Он собрал все — и связи, и обаяние, и волю. Только творческими усилиями таких людей, как Вахтин, в том царстве несвободы происходило что-то человеческое, настоящее. Борис создал экспериментально–литературное объединение, и оно решило заявить о себе — сделать эксперимент. На первом этаже была выставка Яшиных творений, а на втором, в красивом колонном зале, — чтение. Много написано об этом вечере и у Сережи Довлатова, и у Якова Гордина, и у меня. Я не буду останавливаться на том, сколько пришло людей на встречу, какой гвалт и шум стоял в зале. Уже для начала публика обалдела от Яшиных абстрактных творений, галдели, кто что видит, кто подводные геологические слои, кто разрезы камней, кто ничего не видит, кто ужасные малеванья, а кто просто разевал рот от удивления.

В середине вечера к Якову подошли два представительных молодых человека, как потом выяснилось, комсомольские вожди

Ждановского райкома комсомола, мечтающие о своем варианте социализма, и предложили организовать Яшину выставку в их клубе «Каравелла». Яков согласился. Что и как происходило на «каравелле» я подробно описала в эссе «Об одной беспредметной выставке». Как картины после Союза писателей поехали по городу, как побывали в Большом доме, как вокруг них развернулось сражение за чистоту социалистических линий и идей, как у защитников картин были неприятные встречи и предупреждения, даже у знаменитого актера И. Смоктуновского. И все-таки после всех приключений и обсуждений картины вернулись домой — их не удостоили чести поместить в музей хранения антисоветских материалов при Комитете государственной безопасности.

Где, интересно, теперь это уникальное собрание Большого дома? Писатели и поэты, которых тогда пускали в «золотые кладовые» на Литейном, по особому приглашению рассказывали, что коллекция всего антисоветского, собранная искусствоведами в штатском, не уступала по количеству экспонатов коллекциям подвалов Ватикана. Одна картинка Якова, отобранная у арестованного писателя Кирилла Косцинского во время обыска, все- таки попала в то экстравагантное собрание. Это была ранняя черно–белая графическая работа, изображающая ужасающую физиономию, с обратной стороны которой Кирилл Косцинский надписал: «Лицо коммунизма». Якова приглашали по этому поводу на Литейный, но он находился слишком далеко на севере в экспедиции, и бал справедливости обошелся без него. (Кирилл Косцинский получил тюремный срок за антисоветскую агитацию. Общение с уголовниками не прошло бесследно для него и для русской словесности — он составил словарь ненормативного русского языка в Русском центре Гарвардского университета.)

Во второй — литературной — части вечера началось чтение рассказов, которых еще никто не слышал. Какой-то человек возвысился над кафедрой, ему пришлось почти согнуться, чтобы читать свои творения. Сергей Довлатов. В лице что-то восточное, древнеримское, гладиаторское, хотя я никогда гладиаторов вблизи не видела. Но во всем внешнем облике изумило какое-то несоответствие между большим ростом и неуверенной походкой, между правильными чертами лица и растерянными губами.

Надо сказать, что я и впоследствии всегда изумлялась многим Сережиным несоответствиям, не только внешним, но и внутренним.

О Довлатове я впервые услышала от Бориса Вахтина, который хотел привлечь Сергея в свою писательскую группу «Горожане», хотя и критиковал его прозу за легковесность и «случаи из

жизни». Сергей, как известно, был секретарем у матери Бориса, читал ей литературные произведения и сам образовывался. После этого знаменитого вечера, для более близкого знакомства, Довлатов прислал Якову книжечку «Тля» Шевцова (было такое произведение, осуждающее все виды несоциалистического искусства) с надписью: «Абстрактной, художественной тле от тли литературной». Знакомство состоялось, и «литературная тля» с женой Леной стала бывать у «абстрактной тли». Гости весело слушали насмешливо–ироничного Довлатова, владеющего языком, как гибкой шпагой, и покоряющего своими байками–эпизодами дам. «Хорошо бы соединить красоту с интеллектом — выдать мою дочку Катю за вашего сына Илюшу», — шутил Сережа, после того как однажды ему пришлось их везти в одной коляске, возвращаясь после визита от нашего общего знакомого библиографа. В нашем архиве есть несколько грустно–смешных писем Сережи; то он просит денег взаймы, находясь где-то в городе Кургане; то, пытаясь купить пишущую машинку для Якова, попадает в разные нелепые передряги, то его кто-то обокрал, то обманул. и даже побил. «Мир уродлив, и люди грустны» — таким эпиграфом из Уоллеса Стивенса определяет Иосиф творческую жизнь Сергея Довлатова.

Вернусь в зал Союза писателей. Я на самом деле плохо слушала, что тогда читал Довлатов, прозу могу читать только глазами, все больше смотрела на красивого прозаика и на слушателей.

На том вечере впервые после ссылки выступал Иосиф Бродский. И вдруг внезапное общее опьянение — такое чувство рождается, когда происходит единение зала с оратором, певцом, музыкой. Это с неимоверным напором Иосиф Бродский начал читать свои «псалмы»: «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам.» Он читал, не подчеркивая никаких стилистических нюансов, с колоссальной монотонностью, нагнетая стих и к концу расходясь в полную силу. В зале Союза писателей то же колдовство, как и в моей агадырской степи, и так всегда при его собственном чтении.

У нас есть фотография этого чтения: Иосиф стоит на кафедре в костюме и в галстуке на фоне темного занавеса, с левой стороны от него два гигантских венецианских окна, зашторенных волнами шелка, сверху обрамленных лепными ангелами, с правой стороны стол президиума, где сидит семь человек. Всех можно узнать: Вахтин, Виньковецкий, Довлатов, Марамзин, Попов, кроме кого-то заслоненного головой ведущего Якова Гордина, сидящего в центре стола. На всех костюмы и галстуки, кажется, только Довлатов в какой-то кофте, хотя точно не рассматривается, что за

наряд на нем, возможно, что-то супермодное. На первом плане фотограф отразил взбудораженные, лохматые и лысые головы слушателей, и где-то высоко–высоко над ними виднеется кусочек барельефа потолка с летящими херувимами.

К сожалению, никто не делал никаких магнитофонных записей того вечера. А может, они где-то есть и я просто не знаю? Ведь наверняка записи велись для музея хранения антисоветских материалов.

Поступкам можно придать самые разнообразные толкования, можно не доверять своему мышлению, своей памяти, но эмоции запоминаются. В тот вечер мне запомнилось мое удивление — тогда я еще была способна удивляться — реакцией Лиды Гладкой, старинного друга Якова, на чтение стихов. Красавица. Поэтесса. «Фабричная девчонка» — она всех покорила игрой в этой пьесе. И вот Лида слушает другого поэта. Я стою рядом с ней на лестнице и вижу, как ее лицо перекашивается, губы вытягиваются, из красавицы она превращается в не красавицу — не может скрыть раздражения и не владеет своими эмоциями. Ее красивый голос опускается до громкого шепота и она процеживает ядовитые гадости о стихах и о самом Иосифе. Я прячу глаза. Муки зависти подкрались к Лиде, и она уже ничего не может чувствовать и слышать.

После венгерского восстания у Лиды Гладкой был шок и стыд. Это она написала: «Там алая кровь заливает асфальт. Там русское «Стой!» — как немецкое «Хальт!»» В Яшином архиве хранится переписка Якова с Лидой и с Глебом Горбовским, тогда Лидиным мужем, в годы их работы на Сахалине, в годы их любви, в годы их талантливых стихов. К огорчению Якова, друзья его юности Лида и Глеб Горбовский забыли свои юношеские мечты, «изменили возвышенному строю своей лиры». Нам в Америку присылали газеты с их статьями и выступлениями. И уже не «качаются фонарики ночные», и не разобрать, кто в кого стрелял. И кто написал стихи про кровь? И была ли она? И нельзя не изумиться, «как все может статься с людьми». Часто вспоминается тот отрывок из «Мертвых душ», запомнившийся мне еще в школе с первого прочтения, когда Чичиков посетил Плюшкина: «Забирайте же с собою в путь. все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

Донос, который последовал после вечера в так называемые высшие инстанции, написали «свои» — художники и писатели. «Привлечь к уголовной ответственности организаторов. пересмотра состава.» — требовали авторы этого произведения. «Протест нормального — явлению таланта», — высказывался Иосиф по таким поводам. А ты думала, что у гениев нет врагов?

Ахматова считала, что в смерти Пушкина виноваты главным образом его друзья. Творческая зависть свойственна многим, и я тоже от нее не свободна.

«Как будто между нами сотни километров непонимания. Оттого и пространство меж вами. Вы себя на стене сознаете все время мишенью».

«Люди могут видеть только то, что существует в их мышлении, как модели- концепции. И если у человека не заложилось некоего качества, то он его и не воспринимает у других, и не слышит слов, и не понимает их значений» — считает Перловский. Видит все через свою абсолютно уникальную призму. К примеру, во время обыска нашей квартиры к младшему сыну пришла няня. Ей разрешили войти, и Яков, встречая ее, громким голосом произнес: «Александра Кузьминична! Сотрудники КГБ проводят у нас обыск. Ищут антисоветскую литературу. Комната Данички уже обыскана, и вы в нее проходите». На другой день, когда Кузьминична пришла сидеть с Даничкой, она мне говорит: «Прихожу вчера домой и говорю Лешке (мужу): ты подумай, нашли у кого валюту искать!» — «У нас искали не валюту.» — возражаю я. «Да мне ж сам Яков сказал: «Ищут валюту»». Сам сказал. Сам видел. Сам слышал. Сколько самости!

Через четыре года после вечера творческой молодежи, или «сионистского шабаша», по определению отдельных товарищей, Иосиф покидает отечество. Яков едет провожать Иосифа в аэропорт, я же не могу по причине глубокой беременности, вернее, не хочу, чтобы меня видели в таком «интересном положении». В животе находился второй сын, Даничка, который появился на свет в День независимости Америки — 4 июля, через месяц после отбытия Иосифа в другие империи. «Остановленные моменты» последних часов пребывания Иосифа в России засняты фотографом Львом Поляковым. Я смотрю на них. Иосиф выразительный, устремленный вдаль, одухотворенный, даже какой-то радостноудовлетворенный, без намека на напряженность или отчаянье. Яков и Олег Охапкин несколько растерянные, их лица тревожно–напряженные. (Сам Лев Поляков вскоре тоже уедет. Иосиф напишет предисловие к его книге фотографий.) Наверное, в архивах вездесущей организации есть и другие фотографии провожания Иосифа, но пока они еще не обнародованы. Иосиф поручил Якову опустить в почтовый ящик какое-то письмо, а Яков попросил его написать или записать новые стихи. Только Иосиф сел на скамейку и начал писать, сосредоточившись на записи, как быстро подошел сопровождающий в форме и предупредил, что никаких записей

вести нельзя, а нужно идти — проходить багажную таможню. Иосиф ухмыльнулся и сказал: «Весь мой багаж состоит из головы. Вся контрабанда со мной». Олег Охапкин испугался: «Как бы тут Иосифа не прихватили вместе с контрабандой!» Никаких бумаг он не вез. Все обошлось, Иосиф ушел в таможню, «прошел сквозь строй янычар в зеленом», и полупрозрачные двери аэропорта закрылись.

«Означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже». Позже Иосиф рассказывал, что таможенники разобрали его машинку. Когда мы спустя три года тоже покидали родное отечество в том же аэропорту, таможенники, те же или другие, расковыривали подрамники Яшиных картин на щепки под наши с сестрой всплески: что они там ищут? «Вы девочки несерьезные», — как-то грустно сказал один из вскрывателей. Моя сестра, ироничная, веселая, красивая, просила таможенников взять ее мужа к ним на работу: какая, мол, «у вас изумительная работенка, как у Чичикова. Знаете, у героя «Мертвых душ»?» Вдруг они прекратили расщепление, разобрав всего пять подрамников, оставив остальные двадцать в покое. Краски вывезти не разрешили — нет справки, что Виньковецкий художник, однако картины есть, и даже с печатью–штампом, что они представляют художественную ценность, и вывоз их облагается большим налогом. Художника нет, а картины есть. Как восхитительно работает система, и хотя одна рука не знает, что делает другая, но тело все равно двигается.

Уже в Америке Иосиф и Яков иронизировали, как бы такую систему экспортировать. Кто купит? Но не скажите, находятся желающие.

Перед отъездом Иосифа писатель Володя Марамзин начал собирать его стихи. Володя был язычески жизнелюбивым человеком и блестящим организатором. Еще будучи начальником ОТК на заводе «Светлана», он вызывал восхищение своими организаторскими способностями. Для стихов Володя создал целую сеть подпольных перепечаток, хорошенькие машинистки с удовольствием ему помогали, втягивались в ритм стихов, и разбросанные по Ленинграду и Москве стихи Иосифа оформлялись в тома. В этом был большой риск, но ради красоты поэзии — спасали мир. Помню, что много Володе помогала Рада Аллой, собранная, вдумчивая, большой ценитель стихов Иосифа. Рядом с ней я чувствовала свою неорганизованность и несерьезность. Есть такие женщины–отличницы, перед которыми ощущаешь, что ты — двоечница.

«Владимир Рафаилович — это не первоапрельская шутка», — сказал сотрудник всем известной организации (какой юморист!),

когда они пришли обыскивать Володину квартиру. Это было первого апреля, и это была не шутка, а сеть обысков с намереньем КГБ выявить антисоветский заговор во главе с литературоведом, профессором Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это был случай чистейшей провокации и абсурда. Ищут стихи.

Годы спустя перестроились — втянулись в западные гонки и добились фантастических результатов, особенно не скажу кто. Лучше мир спасать деньгами, чем красотой. Предвидел ли пророк такое?

Обысканты добрались и до нас (обыск я подробно описала в предыдущей книжке), я с ними, особенно с одним, иронично кокетничала. Я их не боялась, потому что была уверена, что им самим где-то в глубине позвонка стыдно, да и все стихи и книги были в безопасности — под кроватью секретаря партийной организации гардинно–тюлевой фабрики им. Самойлова — у моей горбатой тетки. И еще я ощущала свое превосходство: у меня — Яша, квартира, картины, музыка, диссертации, дети, смысл, а у них — разочарования, презрение жен и никакого смысла в жизни. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что не могут их любить жены, конечно, я сужу по себе, по своим теткам, подружкам и по деревенским бабам. «Не уважу мужика, — говорила в деревне доярка Мотя, — коли он не делом занимается». Потому те, «кто не делом занимается» и бьет свою жену, чуют: не пойдет она за ними в Сибирь. «Вы ведь русская, а туда же.» — укоризненно заметил один из сотрудников, на что я развернула свою концепцию русскости: «Только тот, кто знает русскую литературу, русскую историю, русскую поэзию так, как мой муж Яков, только тот может называться русским, а мы-то с вами.» На что один из них произнес: «Вот так каждая жена должна думать о своем муже!» Я усмехнулась: «Ваши — так не думают». И, как я уже неоднократно писала, женщины элегантнее мужчин и любят воинов, создателей, творцов. А жалеть можно только жалких.

«Долг смертных ополчиться на чудовищ».

Начался опять суд над стихами и статьями о них. До автора стихов уже было не добраться, а вот Володя Марамзин был под рукой, его и арестовали. Я не буду излагать детективную историю освобождения Марамзина, в которой участвовали картины, связи, страхи, сантименты, любови. и высшие сферы, где только шелест крыльев серафимов. Шаги Андропова.

Марамзина сразу после суда выпустили. На радостях Володя поцеловал руку прокурорше. И боже! Чего только не придумывали про него! А он поэт, писатель, эстет, а не политик, для него «и мовешки — женщины», как он любил повторять. Я

мало знаю людей, у кого бы страсти так ярко были выражены и в движениях, и в писаниях, и в любви к женщинам. Если ему удавалось увлечь женщину в свои объятия, он любил повторять: «Мистика, чистая мистика!»

И как поразительны критерии, нравственные требования, которые люди применяют к другим. Поглядите сами — какие бездонные пропасти в оценках себя и других! Предельные требования ко всем и полная снисходительность к себе. Летят камни презрения в человека. А в себя? Моя мораль выше твоей. Особенно было грустно слышать слова предельного осуждения Володи от некоторых наших друзей. Казалось, им было бы лучше, если бы его посадили. Но этой темы я больше не буду касаться. Слишком далеко можно зайти, в те бесконечные возможности, где уже сам станешь пропастью. Потому что никто не может похвастать, что «достиг Царствия Божия в себе самом».

Забавный эпизод произошел у меня с Володей Марамзиным в самом начале нашего знакомства. Я познакомилась с Володей в доме Бориса и Иры Вахтиных сразу после нашей с Яковом свадьбы. Внешность Володи была необыкновенной: черная густая борода, искрометные глаза, решительные, страстные движения, казалось, что он все время находится на поле боя. И сексуально окрашенный голос. Выяснилось, что мы оба Кашинские — наши бабушки и дедушки из Кашина. Через два–три дня я случайно встретилась с Володей в автобусе, он с улыбкой уступил мне место, стали беседовать. У нас совпали мнения о только что прошедшем в кинотеатрах фильме Антониони. Мы в экстазе обсуждали тенденции итальянских фильмов. На кольце автобуса, около Финляндского вокзала вышли: кажется, нам по пути дальше — ехать в университет. Продолжаем восхищенное обсуждение кинематографических изысков. «А вы Яшина жена?» — внезапно спрашивает мой собеседник. «Да», — гордо отвечаю. «До свидания!» — слышу: звучат слова, но «причина звука исчезла». Ни фильма, ни Антониони, ни мнения. ни Марамзина. Осталась стоять с недосказанными словами, с разочарованием и изумлением: что я такого сказала, что так внезапно оборвалась наша милая беседа и почему исчез мой собеседник?

Только потом выяснилось, что у Володи, оказывается, был принцип: с женами друзей — никаких романов. Я с ним об искусстве, тенденциях, а он. как бы увлечь ее в сторону сладострастия. Женщины отвлекают от фильмов, идей, и понятно, почему отделяют их в синагогах, прячут под чадру.

По «делу Хейфеца—Марамзина», которое было сотворено только для того, чтобы продемонстрировать бдительность органов, Яков и Вахтин были привлечены свидетелями. Яков и на

суде и на следствии отказался от дачи показаний. Участие в «деле» Бориса Вахтина погубило его научную карьеру, а мы приняли трудное решение покинуть страну.

Уже в Америке Яков написал «Письмо из России в Россию» с советами, как вести себя на допросах. Как и на каком основании отказываться от дачи показаний. «Письмо» было опубликовано в седьмом номере парижского журнала «Континент» и передано по «Голосу Америки». «Мудрецы и аскеты различных времен и вероисповеданий изобрели медитацию — особого рода сосредоточение, при помощи которого регулировали не только свои действия, но и помыслы, — напишет Яков, предлагая медитацию, которая помогает при допросах, — весь черный страх заключить в простую деревянную рамку».

Отдельным людям советы Якова помогли, во всяком случае я знаю несколько человек, которые были благодарны за них, и сотрудники всем интересующейся организации говорили допрашиваемым: «Используете метод Виньковецкого». Я не буду описывать допросы самого Якова, который вызывал у сотрудников на удивление уважительное отношение к его твердости и эрудиции. Конечно, не надо преувеличивать такую уважительность, и при первом приказе они вас куда надо посадят, и предадут, однако все равно не могу не подивиться, как на суде над Марамзиным двое из сотрудников сочувственно подходили и расспрашивали Якова о его дальнейших планах, один просто, как родной брат, поздоровался с Яковом (за руку!) и посоветовал уезжать. Как всегда, у нас жертвы и палачи как родственники, и часто убеждаюсь, что только случайные обстоятельства избавляют нас от перемены слагаемых.

Тут в Америке жизненный ритм другой. Тут все непохоже на нашу петербургскую жизнь, и более того, не похоже на предполагаемый образ, «чужого неба волшебство». Здесь тишина и нет никаких шумных посиделок. Каждый живет уединенно. Тут люди не ходят друг к другу так запросто, встречаются только в кафе и ресторанах, не болтают и не ссорятся, ни на что не обращают взгляд, молчат и неизвестно о чем думают. Когда мы переменили империю, если можно теперь это так назвать, и приехали в Нью–Йорк, Иосиф был в Энн–Арборе. Переехали «из мира нагана в мир чистогана» — эту фразу Иосифа из его письма к Якову я взяла названием одной из глав моей книги про Америку. «Это — продолжение в пространстве выглядит на крепкую тройку», — пишет Иосиф и предупреждает Якова, чтобы его надежды не зашли слишком далеко. «Академия (университетская жизнь) состоит из того же материала, что и везде. и ты не должен слишком страдать от равнодушия. Яков,

нет иммиграции — есть житье за границей».

«Снявши пробу с двух океанов и континентов, я чувствую то же почти, что глобус. То есть дальше некуда».

В Толстовском фонде, на субсидии которого мы состояли, отношение к эмиграции было сложным. Как определит Иосиф, это были «диаспорные чувства», амбивалентные. Сотрудники фонда помогали устраиваться приехавшим, но не так, «чтобы самим мучаться счастьем других». В один из дней я пришла за недельными деньгами и на вопрос ведущей «Как идут дела?» ответила, что утром пришло письмо из Принстонского университета, и там написано, что Якова приняли в университет на работу. Посовещавшись с начальником ведущая мне сообщила, что больше нам ничего давать не будут — никакой помощи, никаких денег, идите! Я вышла из кабинета с маленьким сыном Даничкой на улицу, потом вернулась, чтобы занять денег на проезд в метро, у сидящего в очереди знакомого. И хотя я огорчилась, и даже немного всплакнула, но перспектива Принстона меня утешала. Когда же вечером Яков сам прочитал письмо, то сказал мне, что в письме речь идет только о принятии университетом документов, а не Якова на работу. Тут я уже по–настоящему заплакала. Мой английский оставил нас без единой копейки. Мы оказались не в Принстоне, а в подворотне. Как я уже писала в «Америке.», Миша Шемякин прислал нам денег из Парижа, а Иосиф из Энн–Арбора позвонил князю Голицыну, директору Толстовского фонда, и попросил, чтобы они продолжали нас подкармливать. Что он говорил князю, я не знаю, может, читал стихи? Однако на следующий день после его звонка нас «вернули в русло помощи», а главный князь так разулыбался и был так со мной любезен, что я даже смутилась. Видимо, уважал стихи, как княжескую привилегию, и на меня упал отсвет стихотворений Иосифа.

Иосиф с Яковом подсмеивались над моими познаниями английского, что я путаю глаголы с существительными и не отличаю дух от материи. Иосиф прочел мне целую лекцию: «Учи инглиш»; он считал, что главное — заучивать наизусть слова и стихи.

Мы оказались в Хьюстоне. «Вы живете в прериях, на краю империи, в окружении ковбоев. Цикады. Пинии. Пальмы. Все четыре времени года у вас смахивают друг на друга. И отсутствует кислород», — писал Якову Иосиф. Хьюстонская среда не благоприятствовала философии, был диссонанс между Яковом и окружением — не было собеседников. Чтобы получать кислород, мы звонили во все углы мира своим приятелям и друзьям. К сожалению, блеск телефонных бесед Якова никто не

записывал. Яков подолгу разговаривал с Иосифом по телефону, тот тоже жил в скромном «городке, занесенном снегом по ручку двери. где можно жить, забыв про календарь». Иосиф читал только что написанные стихи: «Джейкоб, только что сочинил стишок. как тебе? Не слишком ли холодно? Делаю прививку английской «нейтральной интонации» на чтение стишков. Уровень американской поэзии провинциальный. Нет трубадуров, занимающихся распространением поэзии во дворцах и замках. Восхищаюсь только американской феней». Яков сразу купил словарь американского сленга, изучал, запоминал и удивлял англоговорящих людей сленговыми познаниями.

Идет время — и чего нельзя было сказать пять лет назад, теперь говорится. Сегодня можно сказать одно, послезавтра — другое. Из мелких, да и из крупных высказываний, часто произносимых впопыхах, слишком эмоциональных, конструировать ничего не следует. Отношение и к Америке, и к людям, и к американской поэзии со временем у всех меняется, и, безусловно, разговоры зависят еще и от того, с кем беседуешь. И если по приезде Иосиф написал Якову о провинциальности американской поэзии, а потом отмечал «чрезвычайное разнообразие стилистических идиом и манер», то это вполне естественно. А нейтральностью английской поэзии и недоговоренностью они восхищались еще в молодости.

Яков, как и Иосиф, был удивлен разграничением на Западе на евреев и неевреев, начиная с Вены, когда нашу семью еврейские организации не приняли в свое лоно. Яков сожалел, что из-за своей геологической профессии не смог поехать в Израиль. На это Иосиф ему сказал: «В Израиле — корни, а в Америке — плоды. Это интереснее». Для русского человека Ветхий и Новый Завет, по сути, одна книга. Яков благоговел и перед книгой божественной справедливости — Ветхим Заветом, и перед Новым Заветом — книгой милосердия. Якова интересовал метафизический потенциал человека, а разграничения лишают людей перспективы.

«Только скучный может быть тираном», — как-то невзначай обронил Иосиф, когда они говорили о тирании (соскучились!) и Яков, развивая эту тему, написал статью «Тиран и инфантильность», которую потом почему-то забросил, и она не была опубликована.

В самом начале нашей хьюстонской жизни возникла идея создания русскоязычного журнала, которая некоторое время занимала Якова, Льва Лосева и Иосифа Бродского. Я не помню точно, кому из них пришла эта мысль в голову, но они размышляли о русском толстом журнале в Америке, потому что

«где ты живешь, там ты и должен печататься более или менее. Играть нужно на своем поле». И они стали мечтать об издании художественнофилософского журнала, где бы излагали свои идеи, потому как считали, что «мир потерял центры и мы теперь имеем мировую провинциальную литературу». Русские журналы в Америке, по их мнению, были заняты пусто–много–словием, всяческим мусором. Тогда Иосиф придумал даже название для журнала — «Эхо». (Этим именем потом Володя Марамзин назвал свой журнал в Париже. А слово «континент» для названия журнала Иосифу не понравилось, он даже хотел забрать свои стихи оттуда, но потом каким-то образом его убедили «не быть как все гении» и стихи были напечатаны.) Для воплощения желания в жизнь нужно было заняться литературной политикой, добычей средств, организацией. Кое–какие попытки были предприняты, и один хьюстонский миллионер какое-то время морочил голову, обещал, хвастался, но денег не нашел. Случая не подвернулось, деньги с неба не свалились, спонсор не отыскался, как теперь выражаются, и идея создания журнала угасла. Не получилось ни толстого, ни тонкого журнала с этими ребятами, служенье Муз чего-то там не терпит. Помимо мыслей о журнале они были заняты другими делами, жили не в одном городе, а в разных концах Америки, Интернет еще не появился, и журнальная эпопея, которая так внезапно возникла, так же быстро ушла в мир идей. А жаль.

Яков помимо геологической работы писал картины, статьи, работал над эссе о моделировании процесса живописи. Лев Лосев преподавал в колледже, писал стихи, статьи. Иосиф приступил к прозе на английском, которая так восхищала Якова. Однако Якову не так много удалось прочесть прозаических произведений Иосифа.

Смерть Якова для меня нечто большее, чем утрата мужа. Независимо от личных чувств, это трагедия предельного удаления интеллекта из мира. Как сказал Юз Алешковский: «Наша цивилизация еще не готова для таких людей». Яков нес свое достоинство и хранил в себе муки философского отчаяния. Иосиф предполагал, что в течение человеческой жизни человек находится во власти двух сил: одна привязывает к дому, к земле, к любви, а другая выталкивает вовне — в космос. Потенциал Якова не реализовался в рамках одной живописи, одной любви, одной Церкви — тяготение вовне победило земное притяжение. Мощное мышление Якова превращается во врага, рисует картины катастрофы, расширяет радиус трагедии и разрушает защитные механизмы. Получается, что у рассудка он не может найти утешения. «Не мозжечком, но в мешочках легких он догадывается:

не спастись». Рациональность разрушающая. «лезвия ножниц трудно удержать вместе». В память Якова Михаил Шемякин нарисовал картину, как он говорит, «очень серьезную для моего творчества», вписал в нее строчки из Дмитрия Бобышева (кажется, они дружили) и строчки из Бродского.

> …взгляд живописца — взгляд самоубийцы.
> Что, в сущности, и есть автопортрет.
> Шаг в сторону от собственного тела,
> повернутый к вам в профиль табурет,
> вид издали на жизнь, что пролетела.

Вот это и зовется «мастерство»: способность не страшиться процедуры небытия — как формы своего отсутствия, списав его с натуры.

Говоря словами Бродского, «трагедийная интонация всегда автобиографична». После трагического завершения Яшиной жизни долгое время я все слышала через черный гул в голове. Позвонил Иосиф. У него умер отец. Иосиф что-то говорил, что я должна выживать в любой ситуации, не строить из себя жертву. Самое ценное произведение — это твоя жизнь. Я запомнила: «Ты — метафизическая единица».

И «метафизическая единица» начала новый этап в своей жизни. уже без Якова. Надо сказать, что я никогда, ни при каких обстоятельствах из себя жертву не строила. И мне было больно не так за себя, как за Якова. Трагедия не в немыслимости существования без него, а в том, что «жизнь без нас, дорогая, мыслима».

На дне рождения Юза Алешковского в их с Ириной американском таунхаузе, стоящем на берегу ручья долины Коннектикут, выпивали и восхищались изумительными кушаньями, приготовленными самим Юзом. Юз большой мастер на кулинарные изыски. Гасконский гусь появился на столе в обрамлении чернослив, колбас, яблок и всякой всячины. Приступили к гусю, и тут раздался еще один поздравительный звонок. Юз берет трубку, улыбается, что-то там говорят приятное. и вдруг: «Идите на х.. (Что такое?) Напиши на автоответчике, а то все слишком любят тебя на..ывать, пользуются твоей добротой». Закончив разговор, Юз сообщает, что звонил Иосиф, поздравлял, но «его за..ли: рецензии, письма, звонки. просьбы. Вот я ему и посоветовал сделать такую запись на автоответчике». Юз умеет, как всем известно, остро выражаться.

После гуся кто-то упомянул мою книжку «Америка.» в каком-то позитивном контексте. Спросили мнение Юза, он стал бранить

мой стиль, я — обороняться: мол, «пишу кружевами». Юз быстро парировал: «не кружевами, а х..ми». Борис Несневич, фотограф из Нью–Йорка, возразил Юзу, что «в некой неуклюжести и шероховатости есть преимущества. Иначе все получает одинаковую окраску, как газетный текст. Такая инфляция слов. И так кругом жаргон «Правды». Может, не гладко, но зато без обмана. И есть непредсказуемость.» Хотя первая моя книжечка Юзу понравилась, но к другим он снисходительно не относился и всячески дразнил меня за писательские попытки: «Скажи Володе Леви, чтоб он тебя загипнотизировал, чтоб больше ты не писала». Меня это огорчало. Конечно, каждое произведение можно толковать по–разному — и проблему языка, и психологию, и еще невесть что.

Я решила послать Иосифу свою «Америку» с записочкой, что, мол, не опозорила ли я свою «уникальность» этим писанием? С трепетом ожидала ответа, считая не дни, а минуты.

«Ай да Дина, Ваша хевра удостоилась шедевра», — ответил Иосиф.

Так элегантно не писал обо мне никто. Это была одна из моих больших радостей. Не знаю, стала бы я продолжать свои писания, если бы не было поддержки публики и мнений тех людей, которые меня вдохновляют. И если для Иосифа было безразлично, будут хвалить или отрицать его искусство, приговор его инстинкта — писать, то мне нужны были костыли, поддержка. Это скорей вопрос: какие стимулы были более важными для меня — внутренние или внешние? А может, эти «стимулы» не допускают разделения? Ведь проблемы самоусовершенствования неотделимы от проблем, связанных с общением между людьми. Теоретически одно, а как тебя касается — так другая окраска.

С еще большим трепетом я позвонила Иосифу с благодарностью за отзыв, хотя и боялась нарваться на предложенный ему Юзом автоответ. И в том последнем телефонном разговоре (наш разговор проходил за несколько дней до его смерти) Иосиф говорил мне вдохновляющие слова: «Валяйте! У вас получается.» Ему понравилась композиция моей «Америки» и. «движения души». Иосиф обещал меня поддерживать самым конкретным образом, писать об этом неловко, скажу только, что после такого одобрения у меня «душа запела» и я насовсем ушла в писатели. Сейчас испытываю от писания наслаждение и уже меньше впадаю в зависимость от мнений публики, пожалуй, больше уже завишу от себя самой и языка. И еще Иосиф тогда сказал: «Чем лучше человек пишет, тем больше он нуждается в редакторе. Мяу».

Наш старший сын Илья учился в Уеслаян университете в

Миддлтауне, где жили Алешковские. Илья часто у них бывал, беседовал, опекал их сына Даничку и любил Юзовы пельмени. Илья не разделял привезенных нами злых взглядов на либеральные американские тенденции, хотя «левым» совсем не был — он видел, как его отца уводили на допрос. Он посмеивался над феминистическими выкрутасами в университете — придуманным девчонками туалетом, названным «пипол», демонстрациями студентов против каких–то неправильных банков, корпораций. (Кстати, потом многие из протестующих, за двумя- тремя исключениями, сами стали успешными членами этих банковско–корпоративных сект, наследуя отцовские пропуска, у Ильи же при попытке войти в эти здания в руках оставались ручки от дверей и диплом с отличием.) Юз решительно изливал свои антилиберальные воззрения и в частных беседах, и перед студентами, пытаясь истолковать истоки нашей неприязни к болтовне во имя народа. Когда Илья переводил выступления Юза, то оговаривал, что он — только переводчик; резкие, острые суждения Юза, в которых самыми нейтральными словами было «вы ничего не понимаете», у Илюши большой симпатии не вызывали. От манеры разговора Бродского с аудиторией, однажды выступавшего перед студентами Уеслаяна, Илюша тоже не пришел в восторг: «Как можно говорить с таким презрением к либеральным, демократическим людям, ведь в Америке многое достигнуто только благодаря противостоянию отдельных людей социуму. А нервный ответ Бродского девчонке, что ему нет никакого дела до людей в Южной Африке, — просто фашистский. Папа так бы себя не вел». — «И где оказался наш папа? — жестко возразила я. — Один интерес к высшим человеческим ценностям и желание во всех видеть образ Божий не помогает в этой жизни, и нужно уметь приютить в себе «демона сопротивления»». — «Но это не значит, что нужно хамить». Но это значит, Илюша, что нужно иметь в себе что-то, чтобы видеть зло.

Еще в Вирджинии по приезде в Америку я смутно чувствовала отдельные «писательские» порывы. От отчаянья, от внезапного одиночества, от желания выразить свое душевное состояние я писала письма в покинутое отечество. Отцу Александру Меню мои письма нравились, и он, можно сказать, первый вдохновил меня на писательство. В какой- то момент Яков тоже неожиданно сказал мне: «Начни писать для облегчения своего состояния. Смотри на соседей, Америку, наблюдай и записывай свое отношение к окружающему миру. Но всегда пиши только с любовью, если нет любви — не берись. Любовь — это отношение конечного к бесконечному».

А у меня — двое маленьких детей, маленький английский и первая, тоже маленькая, но работа в Америке. И никакой любви к бесконечному, а только к конечному — когда можно будет отдохнуть от кувырканий Данички и Илюшеньки. Я, естественно, отождествляла себя с текущим временем, а не с бесконечностью. «Видеть красоту в жизни, в отношениях — это дар писателя», — продолжал Яков. «Неужели у меня такое завелось?» — удивилась я.

«Однако, чтобы писать, ты должна учиться писать, учиться передавать оттенки чувств, мыслей, точность смысла». — «Как? Неужели можно научиться?» — «Начни читать Гоголя, Достоевского. стихи. На невспаханном поле растут только сорняки, Диночка!»

А когда читать? Двое детей и три английских слова. Раскрытые учебники английского и такое медленное продвижение в сторону освоения нового языка, что, видно, хочу оставаться наедине со своим, родным, русским. Яков, встревоженный моей тупостью, придумывал разные способы изучения: запоминать песни, стихи, поговорки, разработал специальную схему английского, как в английском языке все связано; схема его у меня до сих пор есть, а вот знания языка, какой был у него, так и нет.

«Придавай словам и фактам теплоту и свет, чтоб скучно не было» — этот абстрактный совет я могу повторить несколько раз, но как воплотить его в произведении? Как? Все время страхи, сомнения, и где взять свет и теплоту?

«Твои письма нравятся адресатам, так и продолжай знакомить и сталкивать слова, которые не стояли рядом. Отстраняйся от клише, парализующих мысль». И я отстраняюсь, отстраняюсь и отстраняюсь, но как ни посмотрю, а избитые истины тут как тут, ходят по пятам, вернее, мои мысли ходят по их проторенным дорожкам.

И как не восхититься теми людьми, мысли и слова которых поднимаются над обыденностью и бывают там, где никто никогда не бывал. И как туда попасть? Если верить Иосифу, то язык выталкивает поэта, вот его, например. Подожду, может, кто и меня вытолкнет? Только вопрос: куда?

«Не зацикливайся на своих эмоциях, — заставая меня сидящей в слезах над рукописью, говорил Яков. — Опять о любви пишешь? Не скрывай свои чувства, но и не выплескивай все подряд». Конечно, эмоции уводят рассуждения в самую непредсказуемую сторону, что определяют словами «вон куда его занесло». И отстраненность, нейтральность, недоговоренность, немногословность — это то, к чему стремлюсь. Между пером и

эмоциями — мучительная душевная раздвоенность. И хотя над рукописью о любви теперь плачу меньше, стараюсь фокусировать сознание, но эмоции все равно затаскивают, увлекают в самые дремучие дебри всезнания и абсурда, откуда я пытаюсь выкарабкиваться, связывать их пером. Так себя иногда становится жалко — бессмысленность и конечность всего, что слезы заливают всю поверхность, и ничего не видно из-за слез, и уже не ручьи, а реки страниц выносят тебя в океан всеобщего растворения. И как всю эту океаническую стихию эмоций преобразовать в форму, в стихи, в Рим? «Природа тот же Рим и отразилась в нем».

Задуманной книжечки о любви еще нет, несмотря на то, что есть много готовых «кусочков вырванного сердца».

Как-то я хотела публично возразить против одной публикации, уж очень она меня раздражила, однако Якову не понравилось мое неистовое рвение, моя концентрация на критике других, на плохом и негативном. «От критики других до собственных сочинений — бесконечное расстояние. Не участвуй ни в каких склочных обсуждениях, битвах, литературных полемиках (у меня битвы только с детьми). Посмотри, что делается в Париже в эмигрантской среде. Сколько сил растрачивает человек на борьбу, интриги и становится утонченным мстителем, вытаскивая на свет все, что нужно скрывать».

Письма письмами, работа работой, дети детьми, английский, какой ни на есть, и всем знакомая боль изгнания. И чтобы ее притупить, я попробовала написать книжечку. Оформила высказывания старшего сына и назвала ее «Илюшины разговоры». Показала Якову первый вариант: «Эти материнские, сентиментальные слюни нужно выбросить». Горькая большая пауза. Разнос в полную меру. Пришлось выбросить и начать все заново. «Лучший выход — всегда насквозь», — пишет Роберт Фрост. Слезами и упорством. Насквозь. От начала до конца, с нуля, чтобы Яков одобрил.

Недавно в интервью меня спросили о будущем России. Я пошутила, что мне муж Яков, под этическим влиянием которого я сформировалась, запретил «иметь мнения по всем вопросам, когда станешь знаменитой». — «Но вы совсем не знаменитая», — ответил интервьюер. И пришлось сказать, наверное, глупость. Апокалиптическое видение, откровения под стать библейским пророкам, а не доморощенным философам. Интересоваться и рассуждать о будущем стран, людей, культурных тенденций — это одно, это интересно как предположение, развлечение, и все это делают, но вещать и припечатывать свои предсказания — это

другое: попадешь в лжепророки дантовского «Ада» и останешься с вывернутой назад головой.

Нежелание поэта побывать в городе его жизни многие люди считают «великой загадкой Бродского», как выразилась Сюзан Зонтаг. Но ведь «и первые голуби не вернулись обратно в ковчег». Как понять нежелание возвращаться в страну, в город, где мы жили и любили? Ведь «нельзя вступить в то же облако дважды. Даже если ты Бог». Любые представления о чем-нибудь опираются на опыт или литературу. Выбор сделан — ты уехал, расстался с тем, что любил, перерезал пуповину, пройдя через избыточные ощущения, переставил и переоценил все ценности, приспособился к раздвоению, что душа там, а тело здесь. Заплатил большую цену, чтобы жить более или менее в согласии с собой, автономно, независимо. И куда опять? Обратно? Как было написано тысячи лет назад, жена Лота превратилась в соляной столб, оглянувшись. И чтобы не превратиться в застывший столб, наверное, нужно двигаться в направлении соединения души и тела.

Как только открылся занавес, прозванный железным, моя мать умоляла меня приехать: «Ты нам ничего не присылай, а только приезжай. Сэкономь на поездку. Хочу тебя увидеть». Она решила, что у меня нет денег для поездки. Я же не могла ей объяснить, что дело не в деньгах, а в чем-то другом. В чем? Ты ведь так долго не видела мать, сестру… друзей. В ранние годы изгнания готова была по дну, через океан идти домой, прямо на нары. Что же произошло? Что?

Иосиф на вопрос о возвращении в Россию ответил, что «хотел бы побывать там, увидеть некоторые места, могилы родителей, но что-то мешает мне сделать это. Не знаю, что именно. Иногда человек сам себя не в силах понять». «Что-то» и мне долго мешало сесть в самолет и отправиться в покинутое отечество. Слишком больно. Ты можешь потерять направление и возвратиться в раздвоенность души. Кто-то из философов, кажется Шопенгауэр, говорил, что «нужно уклоняться от страданий, избегать их» — наверное, потому, что они все равно тебя найдут. И, чтобы преодолеть это «что-то», этот психологический барьер, то есть подготовиться к внесению дополнительного элемента абсурда в свою жизнь, мне потребовалось время.

Для первого визита я взяла сына Даничку — показать ему город, место его рождения. «Мама, не плакай», — утешал меня Даничка, как только мы приземлились в Пулково. А я плакала. И каждый раз «плакаю», прилетая в покинутое отечество. Уже в аэропорту начинаю испытывать лихорадочное беспокойство. С чем сравнить это состояние? Подступает ожидание чего-то непоправимого, вот–вот что-то произойдет, опасения, боязни —

нет устойчивости. Вы выпали из естественной среды. Может быть, оттого, что притупились необходимые для жизни в России инстинкты — быть на страже: несущиеся на тебя машины, падающие с крыш сосульки, кирпичи, мусор, под ногами скользкие тротуары, ямы, лужи, толкающиеся и огрызающиеся люди? Каждодневные испытания уже позади. Родились совсем иные инстинкты. Чувство сильного беспокойства отступает, хотя и остается неким фоном. Я уже слышу разговорную, бытовую речь, без которой соскучилась, площадные интонации, встречаю друзей, изумляюсь городу, радуюсь, что в России есть что-то положительное. И забываюсь.

Есть место, куда не приду, это было бы слишком, — в нашу с Яковом квартиру на Гражданке: не выдержать присутствия там того духа. Там на стенах застыли слова любви, в том пространстве повисли мысли, там обжигают тени Якова — он задумчиво стоит и курит. Там в шкафах прячутся запах. краски детских игрушек. И я не поручусь, что вдруг от тепла все оживет, выглянет и захватит меня. Лицом к лицу столкнусь сама с той собою. И не узнаю себя. Там по кухне витает мой диалог с моей младшей сестрой Ольгой про Иосифа. Закрываю глаза и слушаю.

«Я пришла к поэту в гости. Отдала ему его стихи, — несколько иронично говорит Ольга. — Он сказал, что я — отражение тебя. так же смеюсь и так похожа. Этот ваш поэт (Иосиф) рыжий и конопатый и глаза все время трет — внешне мне не понравился. Некрасивый. Хотя приятные слова говорил. И голос картавый. Приглашал выпить кофе. Но я отказалась». И мое сожаление: «Ты ничего не понимаешь в красоте. Красота — это индивидуальность. Это смысл. Есть лица, которые нужно улавливать». — «Вот ты и вылавливай, а я буду с уже пойманными». И что эта красавица упустила? Боюсь разбудить что-то давно уснувшее, от сна останется горечь во рту. «Что будет поразительней для глаз, чем чувства, настигающие нас с намереньем до горла нам достать?»

Один раз в темноте проехала мимо дома моей юности на Лесном. И хорошо, что не разглядела. А увидеть Иосифу тот дом, где вместо квартиры «черная дыра, будто туда упала бомба», в те «лучшие десять метров, которые я когда-либо имел». Эта встреча, эта растрава оказалась ненужной. «Есть города, в которые нет возврата. То есть в них не проникнешь ни за какое злато». И еще: «Типы вроде меня реже и реже возвращаются восвояси».

Не все загадки можно разгадать. Будет утомительно скучно, если исчезнут все тайны и кроме истины ничего не останется. Поэты уничтожают скуку материальности бытия, придают таинственность и красоту действительности, одухотворяют

любовь, окрашивают необычным образом жизнь — и тайны остаются.

Теперь часто приезжаю в свое отечество, приспособилась, сроднилась со своими чувствами. В других странах безразлично смотрю, вернее, сквозь свою принадлежность к родному отечеству и. саднит. В самых затрапезных городах и республиках нет вывороченных скамеек, замызганных подъездов с темнотой внутри, хлюпающего бездорожья, перекошенных деревень, заколоченных досками окон, убогих старух. Ужасающая бытовая культура остается, а советской власти уже нет. И мы со всех сторон слышим: «Ничего не изменилось», но мы-то знаем, что изменилось, — сколько информации свалилось, сколько разнообразных интернетных сведений, сколько всего крутится в душе для осмысливания. И мы видим, что мы изменились, оставаясь прежними.

И после смерти ни Яков, ни Иосиф «так и не вернулся в старую Флоренцию свою», в свой Петербург, где они жили. Только на бумаге и на холсте. Картины Якова приехали в Петербург в Музей Ахматовой. «Здравствуй, Яша!» — войдя на выставку, сказала наша экспедиционная сотрудница Н. Ф. и перекрестилась. Выезжали картины с приключениями и въезжали тоже, почему-то их не хотели впускать обратно по приглашению из музея, а только за плату. И туда и обратно все платят свою цену. После трехдневного узнавания — растаможивания, — как и кому давать взятку, — картины появились в музее. Это появление изначально стало возможным благодаря Эре Коробовой. Она договаривалась в музее, отбирала картины у нас в Бостоне. И хотя наши мнения расходились по всем вопросам, как, где и что развешивать, но ее любовь к памяти Яши — «Это бы Яшеньке не понравилось», «А как Яшенька замечательно пишет о назначении искусства» — меня обезоруживала. Тут я вспоминала, что она профессионал, искусствовед и что в Эрмитаже стоят в очереди на ее лекции. «Вы знакомы с Эрой Борисовной?» — несколько раз удивленно спрашивали меня бостонские дамы. «Вот она — настоящая петербурженка», «А какой у нее чистейший, правильный русский язык, какого тут ни у кого не услышишь». После таких отзывов об Эре Борисовне я уже не признавалась, что мы старинные друзья. А как она трепетно хранит архив и рисунки Иосифа, не поддается ни на какие соблазнительные предложения — вдруг кто-то как-то неправильно с ними поступит. И чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что главное — люби то, что любишь. Этот мой афоризм Яшеньке нравился.

Яков лежит в Хьюстоне на покатом склоне, и отпевает его только солнце. Моря там нет, там только жесткие пальмы. И даже

трава колючая. Безучастное хьюстонское небо и холодные кристаллы небоскребов. Там нет ни дворцов, ни лепнины, ни фасадов европейского города. Иногда он слышит звук пролетающего самолета и гул отдаленных автострад.

Иосиф на острове, но не на Васильевском, который он впотьмах не нашел, а на острове Адриатического моря, на «кладбище изгнанников». И смотрит на «Возлюбленную глаза», которая отражается в водных зеркалах своих бесчисленных каналов. И слушает шелест сырой бесконечности. Не сумев там родиться, он сумел там навсегда поселиться.

А есть ли для них какая-то разница, где их последняя стадия одиночества? И не все ли равно, где предел отрешенности от этой жизни? Каждая могила все равно край земли. Все позади, любовь, безразличие, радости, печали, признание — все.

А Петербург живет сам по себе, неотразимый. Мистика Петербурга, наверное, влияет на душу и интонацию, она трагическая и у Якова, и у Иосифа. Город, «чья красота, неповторимость чья, отражением своим сыта, как Нарцисс у ручья». Дворцы, фасады, статуи смотрят на других спешащих по его улицам. И кажется, что люди не совпадают с городом. Дворцы требуют другой жизни. А мы совпадали? Я точно не совпадала — ни меланхолии, ни бледности, ни отрешенности. Москва с ее эклектикой мне больше идет. Избыточная, веселая, вся нараспашку. (Члену Клуба петербуржцев, мне не пристало такое говорить.) Деревня с морем во мне перемешались. Фон моего детства: вода, чайки, пароходы, якоря, канаты, матросы, запах рыбы — остров Котлин, форт Кронштадт. И деревня Подъелки: леса, луга, коровы, речка, поля, русская печка, запах сена. А не есть ли влияние Петербурга в твоих «имперских» замашках?

Стихи и краски. Свое душевное состояние, ощущение несовершенства реальности человек может передавать разными средствами. Поэт подбирает слова на слух, экспериментирует с языком, художник работает с красками, бессловесно, и тот и другой создают свою реальность. Есть что-то, что роднит эти разные искусства? Иосиф Бродский полагал, что нельзя сравнивать изящную словесность с другими видами искусства, считая, что поэзия — «ускоритель сознания», что в принципе поэзия выше прозы и что поэт выше прозаика и царит над миром. Яков в своих статьях стремился связать все воедино, считая, что есть могущественный общий инстинкт искусства — извлекать из всего как можно больше смысла для души и что искусство всех примиряет. Только в искусстве есть намек на божественное, и тот, кто создает что-то новое в одной сфере, может оценить в другом тот же творческий импульс. Чтобы понимать друг друга,

недостаточно употреблять одни и те же слова, главное, находить язык верного чувства, ведь один чувствует иначе, чем другой. Даже в «добыче» денег, говорил Яков, есть творческий элемент (но я не буду настаивать на творческой стороне этого вида искусства). И к геологии, и к живописи Яков относился как к своеобразным языковым структурам и любил повторять дзен–буддийскую притчу, что талант един и язык чувства один.

В жизни Якова нельзя не заметить драматизма одной воли, которая становится роковой. Но как описать ее? Яков сначала рисовал предметные картины, потом абстрактные, но и те и другие вызывают ощущение изолированности и трагичности. Внутренняя сила, заключенная в нем, переходит в плавучую округлость перекрученных черных линий, которые как неизбежность опутывают человека в жизни. Абстракция начинает приобретать жизненные черты — принимает форму понимания трагичности существования вообще. Сквозь паутину жизни проникает непрерывный холодный свет.

«Картины, которые я пишу, хотят быть окнами в пространство света», — пишет Яков в своем эссе. В парадоксальном стремлении к свету, к абсолюту Яков поднимается все выше, отстраняется от действительности, от самого себя, от красок и. от жизни. Он рвется прочь из этого мира и уходит в область чистого духа. «Яков рисует мир идей Платона, — говорит философ Игорь Ефимов. — Люди сидят в пещере, сзади падает свет от костра, они смотрят и видят только тени. Только тени доступны нашему восприятию». Может, он рисует тени чувств? Одну жестикуляцию теней? Реальность творческого образа оказывается сильнее конкретной жизни, и жизненные процессы оказываются жалкой тенью той силы, которая втягивает его в свое пространство.

Ведь краски время не боготворит, как язык, если принять поэтическую концепцию Одена, что «время боготворит язык и прощает тех, кем он жив.». Язык, считал Иосиф, выше времени. Краски материальны и рассыпаются, они не несут сами в себе мистику, которую в них вкладывает художник. Краски не ведут художника за собой, как язык поэта. «Звук языка воздействует на наши эмоции непосредственно, а зрительные образы только через концепции, опосредованно, и зрительному образу легче оторваться от материального и улететь» — так считает Леонид Перловский.

У поэта Иосифа Бродского был охраняющий его дух — он чтил язык как религиозную тайну. Благодаря этой любви Иосиф оставался цельным, самим собой и мог сопротивляться реальности. Восхищение словом было с ним всегда, и ничто не отвлекало его от выбранного поприща. «Все, что творил я, творил

не ради славы я, в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности». Через язык Иосиф мог освещать действительность; стихи и судьба для него одно, как композиция жизни, как невольные мемуары. Серьезно и таинственно слова в упоении говорят, что происходит в нем, — пусть слышат и видят через стихи, что происходит с его душой. В образах и понятиях он рассказывает о себе всю историю и через жизнь звуков открывает новые горизонты жизни. Благодаря его стихам видится все необычайным образом. Оригинальность, неистощимость, удивительное богатство сильных выразительных слов, неустрашимая сжатость, ритмическое разнообразие. и мастер вычеканивает собственный язык и новый звук. Иосиф поднимает язык, чтобы он мог выразить возвышенное чувство, и подвергает себя опасности быть непонятым. Вообще для прочтения требуется высокая культура, и своим «дописыванием» читатель тоже превращается в творца, удивляется словам, смыслу, соединению философии с «феней», архаизмов с метафизикой, восхищается насыщенностью его поэзии за счет зашифрованных, скрытых референций, коннотаций, аллюзий, расширяет собственную языковую изобретательность. И поэзия Иосифа становится источником вдохновения.

Первобытные люди, как известно, рисовали на скалах. Их рисунки были образными, они стремились к пониманию окружающих предметов. Яков рисовал абстрактные картины, стремясь проникнуть в самое возвышенное и неопределенное. Я не представляю, писали ли первобытные люди стихи? Иосиф думает, что и в каменном веке могли быть поэты. Интересно бы почитать. Похоже на рэп? Они, наверное, хотели понять значение слов? Иосиф стремился соединить «края разрыва меж душой и телом».

В серафических сферах. Если творчество и судьбы отдельных людей мне дороги, то среди них Яков и Иосиф стоят первыми. Они оба были движимы верой в субъективность как основу творчества. У них было ощущение метафизической пустоты окружающего их мира, которую они стремились заполнить. Их объединял мотив своеволия, мотив сгорания. Яков был философом как таковым, но не был способен на лирику простоты, и у него не было самоиронии.

«В прошлом те, кого любишь, не умирают!» И если можно было бы их оживить, я бы поговорила с ними в полной душевной тишине.

Я бы спросила: обрели ли вы вечную свободу? И как она выглядит? Как разорвались плоть с душою? И нашли ли вы там «собеседников поярче»?

Услышьте меня и ответьте.

И скажите, как оттуда выглядит наша жизнь? И как тучи охотятся на звезды? Может, там нет ни туч, ни звезд? И все охвачено тишиной.

А что здесь? Что-то здесь навсегда изменилось, и даже не понять — что? Вы хотите знать, кто в естественной среде остался и кто из нее выпал? Можно ужаснуться, но все меньше и меньше остается знавших вас. Время все больше и больше отделяет человека от людей и отрывает его от общества. Сужу по себе — почти совсем оторвалась. Могла ли я себе представить, что хохотушка, насмешница, витальная и гостеприимная перестанет «водить хоровод». От моего компанейства мало что осталось. Появляется мысль: может, так и нужно тихо разочаровываться, стареть, чтобы было не так обидно «пресыщенным жизнью» расставаться с собою и со всем остальным миром?

Услышьте меня и ответьте. И что время сделало с людьми? Не пересказать всех жизненных сочетаний, в которые втягиваются отношения людей. Вряд ли вас можно чем-то удивить, тем более сейчас, но все-таки я вам скажу: почти никого не узнать. Изменения с людьми происходят не столько в физическом плане, сколько в маразматическом. Вас бы метафизически потрясло, что пишут и делают ваши приятели. Какое там рыцарское отношение к собратьям, забираются в такие интимности, что становится стыдно и за наше время, и за наше поколение. Особенно Яков бы расстроился за изысканного Диму, а Иосиф — за своего Женюру. Вспоминаю, как Женя млел перед тобой у нас в саду, да и многие другие не сохраняют своих вкусов и лица. Даже обольстительный и соблазнительный Хвост, плюющий на славу, вдруг в последнем своем интервью публично говорит такое о своей поэзии и стихах Иосифа, что думается: с ним произошло что-то чрезвычайно печальное. Но уже ничего не спросить. Живой может в оправдание одним словом опрокинуть кажущуюся явность фактов, и что делать, если он отсутствует здесь.

Но вы правы: те, кого критикуют, оставляют после себя то, что их переживет: стихи, картины, книги. А болтовня растворится в пространстве. «Бог сохраняет все — особенно слова…» — это говорит Бродский.

С Яковом беседую часто (и о детях, и об Интернете, и о народившейся в России демократии, и о моих книжках.). Сегодня я хочу заглянуть к тебе в глаза — теперь у меня есть уже силы, и поговорить о своеволии души. Ты, безусловно, был одним из лучших в нашем поколении людей и был движим жаждой бесконечности. Что совершил ты? И почему ты выбрал путь «безумства гибельной свободы»? Это было тяготение вовне, о

котором говорил Иосиф? Может, в какой-то момент ты перестал бояться смерти и даже захотел победить страх перед ней?

И скажи: отдыхает ли твоя душа там?

Иосифа я бы спросила: чем сшито пространство меж душой и телом? Почему ты любил поэзию больше самого себя? Твое лицо часто менялось, и иногда оно приобретало удивительные черты, не физические, а совсем другие, которые остаются даже тогда, когда уходит их земной обладатель. В ресторане «Козья нога» в Париже, помнишь, где мы с Яковом и Володей М. к тебе присоединились и, несмотря на Яшину величественность, хохотали до незнамо какого времени, и по ходу разговора, веселого и серьезного, ты вдруг из небритого, усталого, угрюмого преобразился в красивого, оживленного, вдохновенного. Красота, получается, то ли заинтересованное, то ли, по Канту, незаинтересованное наслаждение?

Часто ломаю голову над твоими строками. Конечно, хотела бы уточнить, что ты думаешь о напряженности и нейтральности дикции, которые попеременно тобою то прославлялись, то презирались? Кажется, ты превзошел своих любимых в недоговоренности и откровенности, в недосказанности и ясности.

И приходится самой отвечать на вопросы, выстраивать, придумывать, предполагать и во всеуслышанье делать заключения. Вот так и воскрешается поэт, и от него остаются только крысиные хвостики, как от Архилоха. Кажется, это было твоей мечтой? Усвоить твою манеру выражать свое мироощущение при помощи языка, так, как делал это ты, похоже, не только мне, но и другим не очень-то удается. Во всяком случае, я не вижу новых книг глубоких, хороших, непреходящих, которые могли бы дать упоение языком или наслаждение манерой думать.

Мой корабль — не чисто белый пароход, а полосатый, сколоченный из разных чужих досок, с двигателем из интуиции и ощущений. («Женщины чувствуют животом» — запомнилось из Бориса Вахтина.) Все, что есть в нем, сколотилось не без вашего влияния, не без ваших мыслей, писаний, разговоров, поступков. И мой пароходик на животе двигается, плывет через пену вещей и событий в одном направлении — «стремится упорствовать в своем собственном существовании в продолжение неограниченного времени», как господин Спиноза определял важнейшую движущую силу в человеке. Некий груз горя на судне помогает увидеть какой-то смысл в окружающей воде, балансировать, а чтобы не заблудиться в океанической пустоте, он ориентируется на звезды, островки жизни, красоту рассветов и любовь.

Может, ветер донесет до вас голос моих чувств? Но, кажется, дождь его заглушает. И как соответствовать природе, если и она тоже противоречива? Этот вопрос я оставляю до будущего свидания.

Мне далеко до вашего интеллектуального и духовного уровня, но во мне есть одна ценность, что я знала вас, и для меня это — одушевляющее дыхание. И я нескромно надеюсь.

Рядом с моим компьютером всегда лежит мой рыжий кот Ося — Осип Дианович Гонкур. Я давно за ним замечаю, что он одной лапой что-то пописывает и складывает в свою корзину. Сегодня кот куда-то удалился, и я одним глазом решила заглянуть в его листки. Смотрю — в корзине целая книга с названием «В тени человека» с подзаголовком «Записки о поведении двуногих». Открываю еще не подшитый, сверху лежащий листочек, исписанный ровным кошачьим почерком. Читаю: «Моя хозяйка думает, что она уже не общественное животное. Как всегда, она ошибается. Для нее оскорбительно звучит, когда кто-нибудь относит человека к животным: «стадо», «стадные инстинкты», а ведь это должно быть ей комплиментом — присоединение к сверхчеловеческому роду. Существует гипотеза, что человек произошел от животных, мне же думается, что животные произошли от человека. Двуногие многообразные, лживые, непроницаемые животные, опасные для других зверей и для себя своей хитростью и рассудком. Они думают, что у них есть совесть, а они — мелкие завистники, хвастунишки, отвратительно невоздержанные и неблагодарные. Мы, коты, — благородные, возвышенные, с честью и совестью — по этому признаку мы еще в четвертичный период отделились от человекообразных. С незапамятных времен существуем индивидуально и независимо. Двуногим есть чему поучиться у нас, котов. Нам никто ничего извне не может приписать. И если двуногих отличает от нас речь, то кто говорит с человеком на его языке? Кто из них понимает, что говорит другой? Сплошь и рядом слышу, как они все жалуются, что никто их не понимает. Диалогов нет, стихи, тексты, картины, все — непонятное. Да и языки их не способны адекватно выражать реальность, как писали знаменитые двуногие. Моя хозяйка тоже присоединилась к этому всеобщему человеческому нытью и завистливости. Боюсь, чтоб она себя не извела этими двуногими особенностями. Вот на днях приходил один поэт или художник, не знаю кто, без глаза — слава другого выколола ему глаз. И что с ними творится, если кто-то из них приближается к нашему космически–кошачьему уровню! Как они бесятся!

Конечно, нравы в нашем кошачестве тоже портятся и бывают

периоды поглупления и мелкие затмения духа — атавизмы, но до человеческих падений ни один кот не может опуститься.

Приступаю к дальнейшему анализу поведения человека в зависимости от времени и пространства. Время и пространство у двуногих другое, и связано, как отмечает наш кошачий Кант, таким образом: чем короче время их совместного кручения и длиннее между ними протяженность, тем дольше они терпят себе подобных. Гормоны блаженства у них тоже иные. где-то я вычитал, что их знаменитый поэт иногда чувствовал себя котом, даже мяукал, и минутами был абсолютно, животно счастлив. Думаю, что он исключение из их человеческого рода, и приближается к нашей кошачьей сущности. Двуногие так носятся со своей эмоциональной жизнью, что.»

Только я перевернула страничку, чтобы читать дальше, как появился Ося. Я быстро закрыла и спрятала лист в толстый фолиант с мышиной суперобложкой в его корзину. Успела только заметить, что все мышки на суперобложке были одеты по–человечьи. Кот прищурил глаза и сказал: «Мяу!»